

СЕРИЯ  
“ЧУЖЕСТРАНЦЫ”

ТЭФФ

ТЭФФИ

Кусочек  
жизни



РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Чужестранцы

Надежда Тэффи

**Кусочек жизни**

«Издательство АСТ»

1923-1950, 2022

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Тэффи Н.**

Кусочек жизни / Н. Тэффи — «Издательство АСТ», 1923-1950,  
2022 — (Чужестранцы)

ISBN 978-5-17-151503-4

В книгу “Кусочек жизни” Надежды Тэффи (1872–1952) вошли рассказы о русском Париже. Насмешливая уменьшительность в названии прячет за собой внутренний трагизм: меткая ирония в произведениях “королевы русского юмора” часто соединялась с нежностью и жалостью. Герои книги — эмигранты, “разношерстные и разнопородные существа, совсем чужие друг другу, может быть, искони по природе своей взаимно враждебные”, которые “сбились вместе и называют себя общим именем «мы»”. Помимо произведений из прижизненных сборников, в книгу включены неизвестные современному читателю рассказы из эмигрантской периодики, мемуары Тэффи о ее современниках и воспоминания о самой писательнице. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-151503-4

© Тэффи Н., 1923-1950, 2022  
© Издательство АСТ, 1923-1950, 2022



## Содержание

“Переведите русскую душу на французский язык...”	6
Рассказы	18
На скале Гегесинской	18
“Ке фер?”[5]	21
Ностальгия	24
Воскресенье	26
Сырье	30
Как мы праздновали	32
Файфоклоки	35
Башня	38
Мертвый сезон	41
Две встречи	44
Квартирка	47
Лапушка	50
День	55
Цветик белый	58
О славе	60
Сладкие воспоминания	63
Из фиолетовой тетради (I)	65
Святочные советы	68
Из фиолетовой тетради (II)	70
Потустороннее	73
Гурон	76
Первое апреля	79
Танго смерти	81
Тихий спутник	84
Народный язык	86
К Востоку	88
Приключение	91
Письмо из-за границы	95
Лестница	97
Табльдот	100
Конец ознакомительного фрагмента.	101

# **Надежда Александровна Тэффи**

## **Кусочек жизни**

© Николаев Д.Д., Трубилова Е.М., составление, вступительная статья, комментарии

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

## “Переведите русскую душу на французский язык...”

В начале XX века имя Надежды Александровны Тэффи знала, без преувеличения, вся читающая Россия. В любви к писательнице сходились люди самых разных возрастных категорий, социального статуса, политических взглядов и литературных пристрастий, среди которых были последний российский император и будущий советский вождь, скандально известный старец и председатель Временного правительства. Что до простых почитателей Тэффи, их число измерялось миллионами. Отчего же тогда в 1919 году, со многими злоключениями и лишениями, она ступит на борт парохода “Великий князь Александр Михайлович”, держащего курс из Новороссийска в Константинополь, и уже никогда больше не вернется в Россию? Чтобы понять причины эмиграции писательницы, обласканной славой на родине, обернемся на два года назад.

1917 год. Подобно многим демократически настроенным собратьям по перу Тэффи горячо приветствует Февральскую революцию, отмежевываясь от тех, кто заговаривает об отъезде из взбаламученной России. В июньских публикациях газеты “Русское слово” она с презрением говорит о “так называемой интеллигенции”, которая разочарована революцией, совсем, как выяснилось, не похожей на “карнавал в Ницце”. Готовая мириться с неизбежными трудностями революционного времени, Тэффи призывает потерпеть и сограждан: “Чем хуже и страшнее, и противнее все то, что мы видим, тем более мы должны радоваться, что свершилась наконец революция, что теперь открыт путь к свободной борьбе со злом. Какой хирург огорчился бы, если бы, вскрыв живот пациенту, умирающему от аппендицита, увидел гнойник, а не букет роз? <...> Каждый понимает, что возврата нет, что операция была предпринята, когда Россия уже умирала” (“Дезертиры”). Она еще верит в социализм как “великую идею”, к которой просто по недоразумению пристроились опорочившие ее большевики. “Какая огромная работа – снова поднять и очистить от всего этого мусора великую идею социализма!” – убежденно восклицает писательница. Отношение к самим большевикам у Тэффи снисходительное – как к недалеким, лишенным политической интуиции, но не опасным последователям своего фанатика-вождя. Ленин остается в ее глазах таким, каким запомнился по их недолгой совместной работе в газете “Новая жизнь” в 1905 году: “искренний и честный проповедник великой религии социализма”, но, к сожалению, лишенный “вдохновения”, “взлета”, “огня” (“Немного о Ленине”).

Но вот на смену Февралю пришел Октябрь, и многие из тех, кто еще недавно ликовал, приветствуя революционные преобразования в России, с беспомощной растерянностью и испугом смотрели на то, что за этим последовало. Если перевести это в метафорическую плоскость, можно припомнить опубликованный в журнале “Огонёк” за год до революции рассказ Тэффи “Апельсин” – о сосуществовании бок о бок двух миров, непонятных и чуждых друг другу.

В одном из них – мире девятилетней дворянки Кишмиш – звучит нежная музыка, женщины носят кружевные платья, от них неуловимо пахнет тонкими духами, братья-задаваки демонстрируют “стигматы дендизма”, героине снятся изысканные сны про “совсем прозрачную, голубую лодку и серебряные камыши”, а самое страшное, что можно себе представить, – это есть рыбу ножом. В мире Ганки, простой деревенской работницы, радости бесхитростны – краюха хлеба да головка чесноку (“Очень было страшно, что Ганка ест такую гадость <...> Уж лучше бы рыбу ножом”), ее быт примитивен: холщовые рубахи, лопаты, которыми полют дорожки в саду, из нарядов только красный кушак. Да еще дворня судачит про какую-то темную историю с солдатом, от которого у Ганки ребеночек... По-детски влюбленная, замороженная природной красотой и веселой ловкостью Ганки, Кишмиш, желая порадовать своего кумира лучшим из того, что знала на свете, решается на преступление – украдкой берет для нее в кухне апельсин. Символ солнца, красавец, радость! Никогда не видевшая заморской дико-

вины, Ганка, не чистя, надкусила кисло-горькую корку и – сморщившись, выплюнула. “Я стала воровкой, чтобы дать ей самое лучшее, что я только знала в мире. А она не поняла и плюнула”.

Интеллигенция, восторженно принявшая Февральскую революцию, была такой вот Кишмиш из нежного, тонкого, кружевного мира, которая влюбилась в придуманную ею грубую, шершавую красавицу Ганку. Октябрь многих из них отрезвил.

На протяжении всего нескольких месяцев отношение Тэффи к происходящему в России меняется: от радостно-приподнятого воодушевления и призывов к разумному терпению к растерянности и осознанию невозможности жить в стране, вдруг ставшей чужой. Названия фельетонов королевы русского смеха становятся все мрачнее и безотраднее: “Рассудок на веревочке”, “Гильотина”, “Еще похороны”, “Из мертвого города”, “Новый психоз”, “Убиенные рабы” и т. п.

“Города обратились в сплошной рынок, – констатирует она в фельетоне «Торговая Русь» в январе 1918 года. – Пройдите по улицам – вам предложат портрет генерала в черепаховой рамке, сапоги, дверную ручку, самовар, старые штаны и золотые часы, а может быть, и вашу собственную шапку <...>

- Купите пиджачок, товарищ, дешево продам.
- Да он у тебя весь кровью залит, пиджак-то.
- Чего там рассматривать, товар хороший.
- <...> Да в твоём товаре больше крови, чем пиджака”.

Все в России перевернулось с ног на голову: бывший адмирал служит посыльным, артист императорского театра стоит при входе швейцаром, профессор ботаники взял в руки кнут и сел на освободившиеся козлы. Потому что ломовой извозчик, который сидел на этих козлах, теперь читает лекцию на филологическом факультете университета: “Товарищи университеты! Я вот был ломовиком, а таперича я по этой... по фалале. Потому что вот вам нужно высшее образование. А буржуя к вам подпустить нельзя...” (“Будущий день”. Сатирикон. 1918. № 1).

С хаосом, сопутствующим слову государственной системы, можно было смириться, перетерпеть. Жестокость и насилие были органически невозможны для мира Тэффи.

Из революционной столицы весной 1918 года Тэффи переезжает в более спокойную Москву, с которой у нее связаны воспоминания о счастливых первых годах детства. Но вот и над Москвой сгустился сумрак. Газета “Наше слово” (переименованное “Русское слово”), в которой сотрудничала Тэффи, закрыта новыми властями. Источников средств к существованию оставалось все меньше. Еще раньше в Петрограде арестовали некую артистку, читавшую со сцены фельетоны Тэффи, запретив, как сообщалось в хронике журнала “Театр и искусство” 7 января 1918 года, “зарабатывать хлеб клеветой на народное правительство”.

С каждым днем становилось все очевиднее: следует уезжать. И когда осенью 1918-го Тэффи предложили поехать с гастрольной поездкой на юг, тогда еще относительно спокойный и даже сытый, она согласилась. Об эмиграции она тогда еще не помышляла. Но вида черной виселицы – одно из последних страшных впечатлений на оставляемой ею родине – вынести не могла. Главной причиной ее эмиграции стали не голод, не холод, не физические лишения (этого она с лихвой хлебнет и на чужбине). Бежала оттуда, где “увиденная утром струйка крови у ворот комиссариата, медленно ползущая струйка поперек тротуара перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя. Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать”. Это слова из памфлета Тэффи “На скале Горгесинской”, который будет опубликован в мартовском номере одесского журнала “Грядущий день” незадолго до ее окончательного расставания с родиной. Сюжет его отсылает к библейскому мифу о бесах, вошедших в стадо свиней:

“На востоке редко бывают однородные стада. Чаще – смешанные. И в стаде свиней горгесинских были, наверное, кроткие, напуганные овцы. Увидели овцы, как бросились взбесившиеся свиньи, взметнулись тоже.

- Наши бегут?

– Бегут!

И ринулись, кроткие, вслед за стадом и погибли вместе.

Если бы возможен был во время этой бешеной скачки диалог, то был бы он таков, какой мы так часто слышим последние дни.

– Зачем мы бежим? – спрашивают кроткие.

– Все бегут.

– Куда мы бежим?

– Куда все.

– Зачем мы с ними? Не наши они. Не хорошо нам, что мы с ними... Что мы делаем? Мы потерялись, мы не знаем...

Но бегущие рядом свиньи знают...

– ...Вы от кого бежите?

– От большевиков.

– Странно! – томятся кроткие, – ведь и мы тоже от большевиков. Очевидно, раз эти бегут – нам надо было оставаться.

...Бегут действительно от большевиков. Но бешеное стадо бежит от правды большевистской, от принципов социализма, от равенства и справедливости, а кроткие и испуганные – от неправды, от черной большевистской практики, от террора несправедливости и насилия... Бегут. Терзаются, сомневаются и бегут..."

В Киеве, где Тэффи задержалась на три месяца, гастролеровал в те дни ясновидящий Арман Дюкло. Собравшиеся на его сеанс беженцы взволнованно ждали ответа на свой главный вопрос – удастся ли им пересечь границу.

Что заставляло их покинуть свой дом?

“Всегда то же самое: взять свое маленькое человеческое счастье и уйти с ним подальше. Туда, где его не отнимут.

Да. Самому честолобивому и самому идейному, отрешенному строителю новой жизни, как и простому каменщику, нужно «вернуться вечером домой». Зажечь свою лампу, развернуть свою книгу и улыбнуться ласковым близким глазам. <...> ведь мы еще встретим счастье и сохраним его? Иначе не может быть.

Мы такие жалкие...” (“Арман Дюкло”).

Это “мы” потом часто будет проступать в ее эмигрантских рассказах. Известный литературный прием – условное авторское присутствие: она среди них, такая же, как они. Потому-то Тэффи и была любима своими читателями – ибо не выводила себя из этого круга, не выступала в роли высшего судии.

Подобно большинству беженцев Тэффи не знала, что ждет ее впереди. Она оставляла в России миллионы преданных поклонников и почитателей своего таланта. Обретет ли за границей новых, встретит ли старых своих читателей? И до творчества ли будет – там, в неизвестном?

“Отчизна – это как здоровье: только тот может оценить ее, кто ее потерял навеки”, – цитирует Тэффи Мицкевича. Тектонический разлом российской истории вместе с отнятой родиной оставит по эту сторону границы все, что было дорого сердцу. Родная языковая среда вскоре сузится до обитателей “Городка”, населенного русскими парижанами, легким будет не доставать воздуха российских просторов (эмигранты обрели свободу, но вне родины не было столь взыскуемой ими воли), французские отели и съемные квартиры не смогут заменить домашних стен, эмигрантские редакции – издательских масштабов огромной страны.

В скромном номере небольшого отеля на улице Виньон, своем первом прибежище в Париже, по заведенной давно, еще в Петербурге, традиции Тэффи устраивает файф-о-клок



– “смотр новоприбывшим, объединение разрозненных” (Дон-Аминадо. “Поезд на третьем пути”).

Художник Александр Яковлев набрасывает карандашом портрет хозяйки вечера. Тэффи смеется – может, благодаря увековечившему ее Яковлеву она попадет в Лувр. По обыкновению шумит, зычно хохочет во все горло и бахвалится будущими гонорами Алексей Толстой, заявляя, что непременно купит на них сразу шесть пар лакированных туфель. Его нежная, тонкая жена Наталья Крандиевская, раскрыв свежий номер первого эмигрантского журнала “Грядущая Россия”, с наслаждением читает опубликованные в нем стихи Тэффи:

Он ночью приплывет на черных парусах,  
Серебряный корабль с пурпурною каймою.  
Но люди не поймут, что он приплыл за мною,  
И скажут: “Вот, луна играет на волнах...”  
Как черный серафим три парные крыла,  
Он вскинет паруса над звездной тишиною.  
Но люди не поймут, что он уплыл со мною,  
И скажут: “Вот, она сегодня умерла”.

Все еще только начинается, это лишь “увертюра, предисловие, первая глава зарубежного быта”, по удачному выражению одного из гостей того памятного вечера, бывшего прокурора Сената Владимира Павловича Носовича.

Впереди у Тэффи были три с лишним десятилетия.

В эмиграции писательница и ее герои часто будут вспоминать прежнюю жизнь, Россию дореволюционную. Выход сборников Тэффи, пусть даже составленных из переизданных старых рассказов, как это случалось в начале 1920-х годов, воспринимался эмигрантами восточной с оставленной родины. “Чем нас пленяет ее новая книжка, особенно в нынешние дни эмигрантской тоски, – итожил читательскую любовь к Тэффи А.И. Куприн в рецензии на сборник «Тихая заводь» (Париж, 1921), – так это тем, что вся она глубоко и интимно русская по языку, духу и содержанию. Да-да, именно так все и было у нас раньше, как она рассказывает, были этот простор, и эти милые праздники, и суеверия, и вера, и доброта, и глупость, и сладкая лень, и наша тихая природа, и глупые, мудрые дети, и старушонки, и солдаты, и няньки, и кучера, и фокусники, и студенты – все, что нам так дорого по памяти, с чем от младенческих дней срослись мы душою и что для нас уже не повторится более... никогда!”<sup>1</sup>

Но время идет, все чаще Тэффи пишет не о прошлом, а о настоящем, становясь подлинным летописцем русской эмиграции: с первых дней, когда беженцы еще были убеждены в скором возвращении на родину, и до послевоенного – уже не Первой, а Второй мировой войны – времени, когда ничего не осталось не только от прежней России, но и от прежней Европы.

Тэффи оказалась во Франции раньше многих других и могла наблюдать за тем, как складывалась эмиграция, как русские воспринимали Париж и как Париж воспринимал русских в начале 1920-х годов.

27 апреля 1920 года в первом номере парижской газеты “Последние новости” публикуется ее рассказ “Ке фер?”. И с этого времени на протяжении двух десятилетий русские эмигранты читают о времени и о себе – в рассказах, очерках и фельетонах Тэффи. Иногда между публикациями проходит по несколько месяцев, но чаще они появляются регулярно – каждую неделю.

“Ке фер?” был, наверное, самым известным в эмигрантской среде рассказом Тэффи. Он строится на столкновении русского и французского, но столкновение это передает не только

---

<sup>1</sup> Куприн А. Бисерное колечко // Общее дело. Париж. 1921. 25 июля.

разницу, но и необходимость сближения. Столкновение культурных идентичностей заложено уже в названии рассказа. Вопрос, звучащий обыденно на французском, при переводе на русский отсылает к знаменитому роману Н.Г. Чернышевского “Что делать?”. Тэффи изображает не конфликт людей, а конфликт восприятий, причем речь идет о восприятии взаимном, “с двух сторон”, не только о восприятии русскими Парижа и французов.

Определение “лерюссы”, которое дается героям рассказа, не имеет обозначенного в тексте авторства. Тэффи не говорит, кто и кого так называет, тем самым переводя идентификацию типа в план восприятия: “Живем мы, так называемые лерюссы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью”. Она оставляет читателям возможность и отождествлять себя с “мы” рассказа, и отделяться от “лерюссов”, смотреть на созданные образы и изнутри, и со стороны.

Образ автора в произведениях писательницы играет разную роль. Иногда Тэффи включается в повествование в качестве действующего лица, иногда смотрит на происходящее со стороны. Но в рассказах и фельетонах 1920 года регулярно подчеркивается, что автор принадлежит к числу беженцев. Различие, разрыв, иногда даже пропасть между русскими и окружающей их средой не требуют объяснений, рассматриваются как само собой разумеющееся.

Комизм многих рассказов Тэффи эмигрантского периода строится на том, что привычное для парижан оценивается с точки зрения русского. Но это уже не взгляд обеспеченного, привычного к комфорту путешественника, осматривающего достопримечательности, как то было до революции. Теперь оценивающий русский – беженец, и предметом изображения становятся уже не Юнгфрау и Шильонский замок, как в рассказах 1912 года, а “ресторанчики с определенным обедом”, как их называет по-русски Тэффи.

8–9 августа 1921 года Вера Николаевна Бунина записывает в дневнике: “В газетах известие: Тэффи опасно заболела. <...> перевезена в Париж и помещена в городскую больницу. Мне бесконечно жаль ее. Значит, денег у нее нет, раз дело дошло до больницы”. У Тэффи тиф, она на грани жизни и смерти. Бунины советуют ей поехать в Висбаден, где сами отдыхали в августе-сентябре, – известный бальнеологический курорт с горячими источниками, “самый русский” немецкий город. Тэффи проводит там весну-осень 1922 года. Небольших средств, собранных соотечественниками на концерте в ее пользу, хватает ненадолго. Впереди – “дыра в вечность”, как грустно шутит она в письме к Наталье Крандиевской.

В 1922-м Тэффи получит свой последний российский паспорт. Она уже три года в эмиграции. Но, подобно многим, живет еще надеждой на возвращение. На протяжении ряда лет в канун Нового года в парижских газетах печатаются зазывные объявления русских ресторанов и эмигрантских клубов: “Последняя встреча Нового года за границей!”. Каждый раз надеются – последняя. Верят – вернутся.

Первая значительная книга Тэффи, составленная из рассказов эмигрантского периода, вышла в Берлине в 1923 году и называлась “Рысь”. В качестве эпиграфа или подзаголовка в ней напечатаны слова: “Рысь бегаёт рысью”.

Тэффи подчеркивает, что книга эта отражает мироощущение человека, вынужденного бежать, потерявшего родину. Но произведения этого сборника еще нельзя назвать в полном смысле эмигрантскими. Герои Тэффи, как и она сама, находятся словно в некой пограничной ситуации. Тэффи с сарказмом описывает наглых спекулянтов, болтунов, бывших красавцев-жуиров, псевдопатриотов, патетически восклицаящих: “Умерла Россия. Продали, пропили. Кончено!”, причем отчаяние говорящего вызвано главным образом тем, что мутная жидкость на дне фляжки, к которой он периодически прикладывается, “уж и ни на что не похожа” (“Две встречи”)... Вот идет богослужение в маленькой русской церковке в Париже, священник говорит “прекрасные слова молитвы”. Он молится “о православной церкви осквер-

ненной, с поруганными иконами, с ослепленными ангелами”, а прихожане-эмигранты, внешне соблюдая благоговейный вид и истово крестясь, вполголоса переговариваются о фасонах платья, серьгах и прочих пустяках (“Воскресенье”). Именем России спекулируют, ее поминают всуе.

Но отстраненное “они” все чаще заменяется уже знакомым вовлеченным “мы”: “Мы гости и ведем себя вполне прилично. <...> О себе молчим – мы благовоспитанные” (“Сырье”). “Вот мы – смертью смерть поправшие” (“Ностальгия”) и т. д. Разделенное изгнание, разделенная судьба, разделенная мука ностальгии и ответственности за свои поступки...

В 1924 году выходит сборник Тэффи “Вечерний день” – книжка в 150 страниц почти карманного формата. Она издана в небольшом пражском издательстве “Пламя”, созданном близким другом Тэффи историком литературы Евгением Александровичем Ляцким, которому принадлежит емкое и точное определение, характеризующее ее стихи (а по сути, шире – все ее творчество): “Их общий фон – примиренность с жизнью, двоящаяся между жестокой реальностью и прекрасной мечтой”.

Забавным образом в знаменитом (знаменитом в России, но, должно быть, не в чешской типографии) псевдониме перепутан порядок инициалов – на обложке стоит “А.Н. Тэффи”. Название сборника Тэффи отсылает к известному тютчевскому стихотворению “Последняя любовь” (1852), откуда взят этот оксюморон.

В чем смысл названия у Тэффи, призванного, казалось бы, объединять входящие в сборник произведения? Является ли оно завуалированным иносказанием, эвфемистической заменой тютчевской строфы: “Пускай скудеет в жилах кровь, // Но в сердце не скудеет нежность // ... О ты, последняя любовь! // Ты и блаженство, и безнадежность”? “Вечерний день” как “последняя любовь”? Биография писательницы, казалось бы, подталкивает именно к такому прочтению, побуждая предположить, что читателю предстоит встреча с рассказами о последней любви. Той самой, “блаженной и безнадежной”, что “на склоне наших лет...”.

Тэффи уже за пятьдесят, хотя в эмигрантских документах ей удалось исправить год своего рождения с 1872 на 1885-й. Но, впрочем, какое отношение к ней имели все эти цифры! К ней, которую Федор Сологуб прозорливо определил однажды как навеки тринадцатилетнюю! “Хочу нравиться всем, всегда”, – по воспоминаниям Ирины Одоевцевой, будет упрямо повторять Тэффи даже в глубоко преклонном возрасте.

Ей было сорок два, когда оставленный ею поклонник пытался застрелить своего счастливого соперника. Ревнивым стрелком был популярный критик Леонид Галич (Габрилович). Даже утратив сердечное расположение Тэффи, он навсегда останется почитателем ее таланта, находя для него точные, хотя порой и колкие, определения. Уже в эмиграции в рецензии на ее сборник стихов “Passiflora” (1923) Галич заметит: “Тэффи – глубоко русская, и ритм души ее глубоко русский – колеблющийся двойной ритм монастыря и шабаша, боли отречения и муки саморастраты”. А при анализе стихотворения “Ангелика” (о юной красивой душе, скрывавшейся в уродливом старом теле горбатой странницы) Галич не удержится от восторженного восклицания: “Какая ясная, чистая, детская, невинная и счастливая душа написала эти строки!”

Ей было сорок три, когда в пестрой компании знакомой литературной братии она оказалась в одном из домов, куда был приглашен скандально знаменитый Григорий Распутин. Из всех собравшихся Распутин выделяет ее одну – яркую, остроумную, равнодушную к его гипнотическому воздействию.

...А может, говоря о “Вечернем дне”, Тэффи имела в виду день, который из-за смены политического мироустройства, повлекшей за собой слом былого, домашнего, милого мира, в одночасье превратился в безнадежные сумерки с не рассеиваемым мраком? Отсюда, с этого рубежа, этой крайней точки, предела перед наступлением темной ночи, ведет свое повество-

вание автор: большинство рассказов сборника воссоздавало атмосферу той трагической эпохи в истории России, что поделила вчерашних сограждан на два непримиримых лагеря: “Страшная жизнь, в которой все были виноваты и все выкручивались и оправдывались, заговорила новыми страшными и грубыми словами, наложившими запрет и на звезды, и на небо, и кто помнил о них – скрывал эти мысли как стыдное” (“Поручик Каспар”).

Или разгадка в другом? В год смерти Тэффи известный в эмиграции русский культуролог Владимир Вейдле выпустил книгу, позаимствовав ее (тютчевское) название – “Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы”. Ключевое слово у Вейдле – “западные”, он прямо выделяет соответствующую строфу тютчевского стихотворения в своем эпиграфе:

Полнеба обхватила тень,  
Лишь там, на западе, бродит сиянье, —  
Помедли, помедли, вечерний день,  
Продлись, продлись, очарованье.

Весь мир погружен в глубокий сумрак, только на западе – сиянье. Именно это упование на спасение, представление о Западе как Ноевом ковчеге преобладало в смятенном мироощущении беженца-изгнанника начала 1920-х годов.

Одним из первых на сборник “Вечерний день” откликнулся Юлий Айхенвальд, отметивший, что Тэффи здесь “вступает в другую область – серьезную, часто драматическую, не чуждую душевных надрывов, как бы в стиле Достоевского”. По воспоминаниям близких Тэффи, Достоевский был ее любимым писателем. Вслед за Достоевским, который в униженном и ж<sup>2</sup>алком маленьком человеке вскрывал трагизм личности, утверждая: “Является сострадание к осмеянному <...> а стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора”, – Тэффи <sup>3</sup>говорила: “Анекдоты смешны, когда их рассказывают. А когда переживают – это трагедия”. Ирония и жалость были главными стилиобразующими, знаковыми чертами творчества Тэффи.

Совсем иначе, нежели “Рысь” и “Вечерний день”, строится сборник Тэффи 1927 года, названный “Городок”. На обложке его художник изобразил самовар на фоне Эйфелевой башни. Теперь русские пытаются найти свое место в новой стране, в новом мире. Начинается книга с едко-саркастической “Хроники”, заставляющей вспомнить “Историю одного города” М.Е. Салты-

кова-Щедрина:

“Это был небольшой городок – жителей в нем было тысяч сорок, одна церковь и непомерное количество трактиров.

Через городок протекала речка. В стародавние времена звали речку Секваной, потом Сеной, а когда основался на ней городишко, жители стали называть ее «ихняя Невка». Но старое название все-таки помнили, на что указывает существовавшая поговорка: «живем, как собаки на Сене – худо!».

Жило население скученно: либо в слободке на Пасях, либо на Ривгоше. Занималось промыслами. Молодежь большею частью извозом – служила шоферами. Люди зрелого возраста содержали трактиры или служили в этих трактирах: брюнеты – в качестве цыган и кавказцев, блондины – малороссами.

Женщины шили друг другу платья и делали шляпки. Мужчины делали друг у друга долги. <...>

---

<sup>2</sup> Руль. 1924. № 1182. 22 окт. С. 5.

<sup>3</sup> В письме Ф.М. Достоевского С.А. Ивановой от 1(13) января 1868 г. // *Достоевский Ф.* Собр. соч. Письма. Т. 11. С. 71.

Жители городка любили, когда кто-нибудь из их племени оказывался вором, жуликом или предателем. Еще любили они творог и долгие разговоры по телефону.

Они никогда не смеялись и были очень злы”.

Но вошедшие в сборник рассказы затем словно опровергают суровый приговор, вынесенный в хронике. В мире, который описывает Тэффи, есть много драматического и даже трагического, есть бестолковость, глупость, равнодушие, но светлого, доброго, радостного в нем намного больше, потому что писательница обладает удивительным даром: видеть в тусклом – яркое, в мертвом – живое и отыскивать в самых пропадающих людях милые и славные черты, заглядывая дальше видимого и глубже внешнего.

С конца 1926-го Тэффи пишет еженедельный рассказ для парижской газеты – “Возрождение”. Воскресное чтение ее нового произведения на долгие годы становится неизменным атрибутом эмигрантской жизни. Или, точнее сказать – жизни русских за границей, поскольку “Городок на Пасях” и связанное с ним эмигрантское мироощущение постепенно уходят в прошлое.

Русские уже полностью вовлечены в парижскую жизнь, хотя не забывают ни на минуту, что они не французы.

“Мы, русские”, – гордо подчеркивают жители “Городка”, повторяя это как заклинание, прилаживаясь к новой жизни, но не желая расставаться со старыми привычками. Они пытались удержать в памяти свое, родное, исконное, в каких бы странных и нелепых формах оно подчас ни проявлялось.

“Рассказывают:

– Живет у парка Монсо русская купеческая семья. Одиннадцать человек. Живут двенадцать лет. Деток вырастили. Никто ни слова по-французски, вся прислуга русская, и каждый день деревянными ложками щи хлебает. Вот какие крепкие люди. Патриоты” (“О любви к Отечеству”).

Или вот есть, скажем, у нас понятия, только “нам, русским” близкие, каких нет ни у одного народа. Выражаются они не переводимыми на другие языки глаголами “переть” и “хлопотать”. Что одно, что другое – занятия бессмысленные, безнадежные, бесперспективные, и глупость этих действий для всех очевидна, но удержаться от них славянской душе никак невозможно (“Русское”). У нас и в мелочах своя, особенная гордость, мы из любой бытовой чепуховины способны вывести целую национальную философию. Так поучает Евгению Николаевну из рассказа “Разговорчик” ее непрошенная гостья, с тупой настойчивостью напоминая: “Мы русские, у нас желудки другие. Мы должны по утрам пить либо кофий, либо чай, либо, куда ни шло, молоко”.

Тем же знакомым рефреном – “мы, русские...” – начинается рассказ “Ночь”. Страшные слухи о зверствах немцев в дни Первой мировой войны приводят его героев в состояние иступленной ярости, они гневно требуют отмщения:

“– Перевешать бы их всех до одного!

– Сжечь на медленном огне!

– Сначала немножко пожечь, а потом повесить”. Но вот они встречаются на границе мирного немца, толстого молодого человека, возвращающегося на родину, и ненависть замещается безотчетным чувством сострадания: “Бедный, бедный... Что же из того, что человек полный? Вы думаете, у полного по своей родине душа не болит? У него, может, сердце-то кровью исходит. Улыбается? Улыбается, чтобы не расплакаться”. И те, кто только что уготавливал для “всех до одного” немцев жестокую расправу, наперебой предлагают:

“– Может, догнать его? Пожать руку?

– Шоколаду бы ему дать, чего-нибудь сладенького.

– Может, и денег-то у него нет...

– Наверно, где-нибудь мать о нем убивается.

– Бедный, бедный! И тако-ой-то молодо-ой!”

Жалость – самое русское чувство, – утверждает писательница, – оно не подконтрольно разуму, необъяснимо, иррационально и проявляется порой в самых неожиданных случаях – даже по отношению к преступникам и убийцам. “Никак не может русская душа не умилиться при мысли о том, что подлец был когда-то ребенком, и не растрогаться, что у подлеца была мать”.

При этом русские герои Тэффи все увереннее считают себя настоящими и полноправными парижскими жителями. Эмигрантский статус больше не подчеркивается и часто даже не ощущается. Но на столкновении менталитетов по-прежнему строится множество комических коллизий, поскольку разница в привычках, в традициях, во взглядах на жизнь не исчезает. Вывезенная из России загадочная, мятущаяся, стремящаяся ввысь *l'âme slave* все так же стремится преодолеть европейский прагматизм и рационализм.

Герои рассказов “Таня Соколова” и “Ловкач” уверяют окружающих, что не лишены практической сметки и не упустят своей коммерческой выгоды. Таня Соколова корит себя, что была чересчур жестока со своими работодателями: “Я даже делала подлости – я им весь огород расчистила, чтобы им стыдно стало, что они всю работу на меня свалили... По ночам стирала, чтобы их устыдить. Конечно, это с моей стороны подлость. Я весь дом на себе воротила”. И когда Таня вновь отвечает согласием на предложение хозяйки поработать на нее, ее мучит совесть – ведь эта охотная готовность наверняка “страшно уколола” хозяйку. “Мне даже потом стыдно стало, что я ее так”.

Знакомые молодого талантливого пианиста Лихарева завидуют ему – этот ловкач сумел найти выгодные уроки. Два года он преподавал музыку состоятельным американцам. Они, правда, не платили ему, но зато обещали в конце курса обучения преподнести необыкновенный подарок. Когда Лихарев наконец получил этот подарок – набросанный мужем ученицы, абстракционистом-самоучкой, свой портрет (“нечто вроде коричневой капусты, из которой выпирали три лиловых глаза”), оказалось, что он остался американцам должен за этот шедевр еще 500 франков. Денег за уроки от них “ловкач”, конечно, не получил.

“Но вообще он не любил об этом рассказывать. Ему, кажется, было совестно, что он не смог заплатить американцам за свой портрет.

– Так вышло неловко...”

С русской сиделкой, с трудом нашедшей место у богатой взбалмошной старухи-американки, мы встречаемся в рассказе “Из тех, которым завидуют”. В тексте множество второстепенных персонажей – калейдоскоп мелькающих лиц показывает, что сохранить место столь же трудно, как и найти работу: американка едва ли не ежечасно увольняет кого-нибудь из прислуги:

“Лиза вертелась как на пружинах, откликалась на имена всех кошек, собак, лошадей и мужей своей хозяйки и урывала минутки, когда можно было сбегать к себе в комнату поваляться на постель и поплакать.

– Я не могу уйти. Мне есть нечего. И нечего послать матери в Москву. У меня мать умирает. Я не могу уйти”.

И всего через несколько строк она отчаянно бросит в лицо американке: “Я сегодня уйду от вас. Я больше не могу”. Лизе кажется, что ее слова, ее объяснения (“У меня нет морального удовлетворения”, “Я готова в десять раз больше работать, но настоящую работу. А ведь вы измываетесь над людьми за свои деньги. Я этого не могу. Душа болит”) сумели пробудить что-то в душе американки, и ей уже представляется, как она ее “направит нежно и ласково на доброе и светлое”. Но Тэффи не превращает рассказ в нравоучительную “рождественскую” историю. Американка не только не меняется, но еще и распоряжается уволить Лизу на следующее утро. Нельзя пробудить то, чего нет, нельзя найти искру Божию у человекообразных – Тэффи



остается верной тому противопоставлению, которое было сформулировано ею в предисловии ко второй книге “Юмористических рассказов”.

Наивность Лизы выглядит комично, но эта комичность не делает героиню объектом насмешки. Скорее, это комичность ребенка, наивного и незащитного перед лицом окружающего его сурового мира – и все же сохраняющего веру в сказки и чудеса.

Одна из актуальных в эмиграции тем – разобщенность русских изгнанников, о которой Тэффи постоянно писала с начала 1920-х годов. В отличие от многих национальных диаспор беженцы из России так и не стали единым целым – отчасти из-за идеологических противоречий, отчасти по причинам социальным, и в любом случае из-за уверенности каждого в своей правоте и нежелания идти навстречу. Впрочем, и здесь находится парадоксальный выход.

В рассказе “Звено” героиням, которые “сразу друг другу не понравились”, удается примириться и подружиться, да так, что они “прямо даже друг без друга часу прожить не смогли бы”. И все благодаря приехавшей в пансион больной танцовщице. Но объединяет героинь не сострадание к танцовщице, не интерес к ней, а общее желание позлословить по ее поводу.

Тэффи пишет о ненависти, которая объединяет в том случае, если не может объединить любовь: “Связанные звеном ненависти они не то что полюбили друг друга, а простили друг другу недостатки, оправдали их, чтобы не являлись они чем-то разъединяющим”. Но мы понимаем, что связывающая героинь ненависть – не настоящая, она ограничивается лишь словами, да и то скорее обидными, чем злыми, а злословие – по крайней мере у Тэффи – не есть зло.

Тэффи очень много делала для объединения людей – и не только своими произведениями, адресованными всем без различия взглядов, достатка и возраста. В парижской эмиграции она стала одной из главных, если не главной объединяющей фигурой, хотя вряд ли кто мог бы предположить такое до революции.

Тэффи никогда не примыкала ни к каким литературным группировкам. Она была “сама по себе”. В первые годы творческого пути это мешало: “пробиваться” в одиночку всегда труднее, чем группой. В результате всероссийское признание пришло к ней благодаря сотрудничеству в московской газете “Русское слово”, несмотря на то, что жила Тэффи в Петербурге.

Возглавлявший “Русское слово” Влас Дорошевич – “король фельетонистов” – тоже старался ни к кому не примыкать и ни от кого не зависеть. Тэффи вспоминала, как Дорошевич заступился за нее, когда в редакции хотели заставить ее писать злободневные фельетоны. “Оставьте ее в покое. Пусть пишет, о чем хочет и как хочет, – сказал тогда Дорошевич. И прибавил милые слова: – Нельзя на арабском коне воду возить”.

Дорошевич сразу отметил исключительность Тэффи – ее таланта, ее стиля, ее взгляда на жизнь. Но он увидел и другое – что Тэффи не готова быть в одном табуне с другими не потому, что она для всех чужая, а потому, что она для всех – своя. Он понял, что произведения Тэффи – если дать ей свободу – найдут отклик у миллионов читателей, а “Русское слово” в лучшие годы выходило именно миллионными тиражами. И Дорошевич не ошибся.

То, что Тэффи оказалась для всех своя, проявлялось не только в творчестве, но и в отношениях с людьми, в том числе с коллегами-писателями. Ее дружбу высоко ценили представители враждующих лагерей. Она регулярно выступала в качестве “хозяйки бала” на всевозможных благотворительных вечерах, которые устраивала эмиграция, и своим умом, обаянием, юмором заставляла забыть о разногласиях и вспомнить о главном: у всех их одна родина.

Круг знакомств Тэффи был огромен – и до революции, и после. Она могла бы написать несметное множество мемуарных очерков – о выдающихся писателях, журналистах, художниках, музыкантах, актерах, режиссерах, ученых, политиках, промышленниках и т. д. – не только о русских, но и иностранных. К примеру, одной из “звезд” авторского вечера Тэффи, который состоялся в Париже 18 февраля 1927 года, была Жозефина Бейкер, знаменитая танцовщица, пользовавшаяся в то время головокружительной популярностью.

Тэффи со многими была в доверительных отношениях, и если к этому добавить ее проницательность, наблюдательность и умение разглядеть суть человеческого характера, то такие мемуары открыли бы для нас много нового. Но Тэффи еще и обладала удивительным человеческим тактом. В одном из своих ранних юмористических рассказов она заключает: “Никто не любит, когда его очень понимают”. И она вовсе не стремится, в отличие от целого ряда других писателей этой эпохи, выносить на суд широкой публики чужие секреты, показывать подноготную чужих поступков, “срывать маски” или, напротив, создавать из людей идолов.

Если Тэффи пишет о людях, с которыми ее сводила жизнь, то в воспоминаниях ее могут быть юмор и ирония, но не будет злобы и раздражения. Это вовсе не значит, что она всех любила и ни в ком не разочаровалась, что ее не обижали и не обманывали, что она помнит только хорошее. Нет, Тэффи наверняка не забыла, как пренебрежительно отзывалась о ней в печати до революции Зинаида Гиппиус, как ей отказывали в праве считаться настоящей писательницей другие “серьезные” авторы. Но если она пишет мемуары, то не для того, чтобы сводить счеты, а ради иного – вспомнить что-то хорошее, светлое, значительное или забавное, отдать дань памяти ушедшим.

Несколько выделяется на общем фоне лишь очерк “Распутин”, потому что это, скорее, воспоминания не о самом Распутине – двух коротких встреч для полноценных мемуаров мало – а об отношении к нему современников, о времени, олицетворением которого для многих стал старец.

В 1920–1930-е годы мемуарные очерки Тэффи в газетах печатались редко. Чаще поводом для них было прощание с недавно ушедшим. Таковы, например, ее очерки о Федоре Сологубе (“Рыцарь смерти”), Павле Тикстоне (“Первый джентльмен”) и Михаиле Кузмине (“Река времени”). Они так и начинались – с известия о смерти: “Печальная весть: умер Федор Сологуб”; “Уходят, уходят, уходят... Точно река в половодье смывает их с нашего берега и уносит навсегда. Вот нет больше М.А. Кузмина”.

Особняком в этом ряду стоит очерк о Тикстоне – верном спутнике, преданном друге, бесконечно добром человеке, бывшем на протяжении десяти эмигрантских лет фактическим мужем Тэффи, хотя их союз и не был скреплен законом. Когда в конце 1930 года Тикстон тяжело заболевает, Тэффи самоотверженно ухаживает за ним на протяжении пяти лет, до самой его кончины. Как вспоминала об этом трудном периоде ее жизни близкая знакомая Тэффи В. Васютинская: “За стеной ее рабочего кабинета медленно угасал тяжело больной, день и ночь нуждавшийся в ее присутствии, заботах и уходе. И она годами окружала его своей нежностью, бдела над ним неотступно и... писала развлекавшие читателей веселые рассказы”. “Устала очень”, – признается Тэффи в письмах Буниным. – “Живу я сейчас так тяжело и уныло, что даже смешно. Бедный П.А. уже не может говорить, так что я веду монолог, конечно очень добрый, веселый и занятный. От этого у меня непроходящая мигрень. Какая ужасная штука жалость. Ей совершенно нет границ и пределов. Все кажется, что можно еще отдать что-то. – Ага, стерва! Небось книжку по ночам читаешь, а он читать не может! Нет предела!”<sup>4</sup>

После войны Тэффи подходит к своим воспоминаниям иначе: она задумывает книгу мемуарных очерков – и печатает их в нью-йоркской газете «Новое Русское слово», уже рассматривая как часть единого целого. Сначала книгу предполагалось назвать “Встречи”. В начале первого очерка, опубликованного 5 сентября 1948 года именно под этим общим заглавием, Тэффи писала:

“Много интересных людей прошло через мою жизнь. Хочу рассказать о них просто как о живых людях, показать, какими я их видела, когда сплетались наши пути. Они все уже ушли, и ветер заметает снегом и пылью их земные следы.

---

<sup>4</sup> Переписка Тэффи с И.А. и В.Н. Буниными. Публ. Р. Дэвиса и Э. Хэйбер // Диаспора: Новые материалы. Т. 1. Париж – СПб., 2001. С. 397, 398.

О творчестве каждого из них писали и будут писать еще и еще, но просто живыми людьми не многие их покажут.

Я хочу рассказать о моих встречах с ними, об их характерах, причудах, дружбе и вражде. Я расскажу об А.Н. Толстом, о Куприне, Ленине, Гумилеве, Бальмонте, Репине, Саше Яковлеве, Зинаиде Гиппиус, Кузmine, Сологубе, Мережковском, Фондаминском, Матери Марии, Цетлине и о других ушедших, что вспомнится. Как все они жили-были в тот отрезок времени, который мы в какой-нибудь мере провели вместе”.

Намеченное удалось реализовать не в полной мере. О ком-то Тэффи успела написать, о ком-то – переработать прежние очерки, но осталось и много нерассказанного. Не вышла при ее жизни и задуманная книга, хотя договор с издательством имени Чехова был заключен, и машинопись отправлена из Франции в США. Но у американского издательства закончились деньги, а потому отдельные не публиковавшиеся ранее мемуары Тэффи печатались затем в парижском журнале “Возрождение” уже посмертно.

Тэффи писала преимущественно маленькие рассказы, которые литературными критиками традиционно ценятся меньше, чем повести и романы. Но из этих своеобразных “кусочков жизни”, как из частей пазла, складывается огромная цельная картина – картина жизни, созданная в эпоху, когда казалось, что повсюду торжествует смерть. Произведения Тэффи всегда о том, что жизнь главнее и сильнее смерти и что каждый ее “кусочек” обладает ценностью безусловной и абсолютной.

Дмитрий Николаев, Елена Трубилова

## Рассказы

### На скале Гергесинской

Их немного, этих беженцев из Совдепии. Маленькая кучка людей, ничем между собою не связанных, маленькое пестрое стадо, сжавшееся на скале для последнего прыжка. Разношерстные и разнопородные существа, совсем чужие друг другу, может быть, искони по природе своей взаимно враждебные, сбились вместе и называют себя общим именем “мы”. Сбились без цели, без смысла. Как случилось это?

Вспоминается легенда страны Гергесинской. Вышли из гробов бесноватые, и Христос, исцеляя их, вогнал бесов в стадо свиней, и ринулись свиньи со скалы и перетонули все.

На востоке редко бывают однородные стада. Чаще – смешанные. И в стаде свиней гергесинских были, наверное, кроткие, испуганные овцы. Увидели овцы, как бросились взбесившиеся свиньи, взметнулись тоже.

– Наши бегут?

– Бегут!

И ринулись, кроткие, вслед за стадом и погибли вместе.

Если бы возможен был во время этой бешеной скачки диалог, то был бы он таков, какой мы так часто слышим последние дни.

– Зачем мы бежим? – спрашивают кроткие.

– Все бегут.

– Куда мы бежим?

– Куда все.

– Зачем мы с ними? Не наши они. Не хорошо нам, что мы с ними. Может быть, все-таки должны мы были остаться там, где из гробов выходят бесноватые? Что мы делаем? Мы потерялись, мы не знаем...

Но бегущие рядом свиньи знают, и подбадривают, и хрюкают.

– Культура! Культуре! У нас деньги защиты в подметках, бриллианты засунуты в нос, мы спасаем культуру, культуру, культуру!

Бегут и тут же на полном ходу спекулируют, скупают, перекупают, перепродают, распродают слухи, вздувают до сотни рублей пятак на собственном рыле.

– Культура! Культуру! Для культуры!

– Странно! – удивляются кроткие. – Слово как будто наше, из нашего словаря, а почему-то неприятно. Вы от кого бежите?

– От большевиков.

– Странно! – томятся кроткие. – Ведь и мы тоже от большевиков. Очевидно, раз эти бегут – нам надо было оставаться.

Бег такой стремительный, что и столкнуться некогда.

Бегут действительно от большевиков. Но бешеное стадо бежит от правды большевистской, от принципов социализма, от равенства и справедливости, а кроткие и испуганные от неправды, от черной большевистской практики, от террора, несправедливости и насилия.

– Что мог бы я там делать? – спрашивает кроткий. – Я профессор международного права. Я мог бы только умереть с голоду.

Действительно, что может делать профессор международного права – науки о том, как нельзя нарушать нечто ныне несуществующее? На что он годен? Единственное, что он может делать, – это источать из себя международное право. И вот он бежит. На ходу, во время кратких остановок, он мечется, суетится, узнает – не нужно ли кому-нибудь его международное

право. Иногда даже пристраивается и успевает прочесть две-три лекции. Но вот бешеное стадо срывается и увлекает его за собою.

– Надо бежать. Все бегут.

Бегут безработные адвокаты, журналисты, художники, актеры, общественные деятели.

– Может быть, надо было оставаться и бороться?

Как бороться? Говорить чудесные речи, которые некому слушать, или писать потрясающие статьи, которые негде печатать?..

– Да и с кем бороться?

Если вдохновенный рыцарь вступает в борьбу с ветряной мельницей, то побеждает – заметьте это – всегда мельница. Хотя это и не значит – еще раз заметьте, – что мельница права.

Бегут. Терзаются, сомневаются и бегут.

И рядом с ними, не сомневаясь ни в чем, подхрюкивают спекулянты, бывшие жандармы, бывшие черносотенцы и прочие бывшие, но сохранившие индивидуальность прохвосты.

Есть натуры героические, с радостью и вдохновением идущие через кровь и огонь – трам-та-ра-рам! – к новой жизни.

И есть нежные, которые могут с той же радостью и тем же вдохновением отдать жизнь за прекрасное и единое, но только без трам-та-ра-рам. Молитвенно, а не барабанно. От криков и крови весь душевный пигмент их обесцвечивается, гаснет энергия и теряются возможности. Увиденная утром струйка крови у ворот комиссариата, медленно ползущая струйка поперек тротуара перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя.

Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать.

И они бегут.

Этой стружкой крови они отрезаны навсегда, и возврата им не будет.

И еще есть люди быта, ни плохие, ни хорошие, самые средние, настоящие люди, составляющие ядро так называемого человечества. Те самые, для которых создаются наука и искусство, комфорт и культура, религия и законы. Не герои и не прохвосты – словом, люди.

Существовать без быта, висеть в воздухе, не чувствуя под ногами опоры, привычной, верной, прочной, земной, – могут только герои и маньяки. “Человеку” нужна оболочка жизни, ее плоть земная, иначе говоря – быт!

Там, где нет религии, нет закона, нет обычая и определенного (хотя бы тюремного, каторжного) уклада, человек быта существовать не может. Сначала он пробует приспособиться. Отняли от него утреннюю булку – он жует хлеб, отняли хлеб – принялся за мякину с песком, отняли мякину – ест тухлую селедку, но все это с тем выражением лица и с тем душевным отношением, которое надлежит проявлять человеку к утренней булке.

Но вот и этого нет. И он теряется, гаснет его свет, блекнут цвета жизни.

Порою мелькнет зыбкий луч.

– Они, говорят, тоже взятки берут! Слышали? Слышали?

Летит радостная весть, передается из уст в уста, как обетование жизни, как “Христос воскрес”.

Взятка! Да ведь это быт, уклад, наше, свое, прежнее, земное и прочное.

Но на одном этом не рассядешься и не окрепнешь.

Бежать надо. Бежать за хлебом насущным во всем его широком катехизисном толковании: пища, одежда, жилище, труд, добывающий их, и закон охраняющий.

Дети должны приобретать необходимые для труда знания. Люди зрелого возраста – применять эти знания к делу.

Так всегда было и быть иначе, конечно, не может.

Бывают пьяные дни в истории народов. Их надо пережить, но жить в них всегда невозможно.

– Попировали, а теперь и за дело.

Ну-с, так значит, мы по-новому должны? В котором часу на службу идти? В котором обедать? В какую гимназию детей готовить? Мы люди средние, рычаги, ремни, винты, колеса и приводы великой машины, ядро, гуща человечества – что прикажете нам делать?

– А приказываем мы вам делать ерунду. Ремни будут у нас вместо винтов, будем ремнями гайки привинчивать. А рычаги будут вместо колес. А колесо пойдет у нас вместо ремня. Нельзя? Старые предрассудки! Под штыком все можно. Профессор богословия пусть печет пряники, а дворник читает лекцию по эстетике, хирург пусть метет улицу, а прачка председательствует в суде.

– Жутко нам! Не можем, мы не умеем. Может быть, дворник, читающий эстетику, и верит в глубокую пользу своего дела, но профессор, пекущий пряники, твердо и горько знает, что пряники его не пряники, а черт знает что.

Бежать! Бежать!

Где-то там... в Киеве... в Екатеринодаре... в Одессе... где-то там, где учатся дети и работают люди, еще можно будет немножко пожить... Пока.

Бегут.

Но их мало и становится все меньше. Они слабеют, падают на пути. Бегут за убегающим бытом.

И вот теперь, когда сбилось пестрое стадо на скале Гергесинской для последнего прыжка, мы видим, какое оно маленькое. Его можно было убрать все в какой-нибудь небольшой ковчег и пустить по морю. А там семь пар нечистых пожрали бы семь пар чистых и тут же сдохли бы от объедения.

И души чистых плакали бы над мертвым ковчегом:

– Горько нам, что постигла нас одна судьба с нечистыми, что умерли мы вместе в ковчеге.

Да, милые мои. Ничего не поделаешь. Вместе. Одни – оттого, что съели, другие – оттого, что были съедены. Но “беспристрастная история” сочтет вас и выведет в одну цифру. Вместе.

“И бросилось стадо со скалы и перетонуло все”.



## “Ке фер?”<sup>5</sup>

Рассказывали мне: вышел русский генерал-беженец на Плас де ла Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством:

– Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?

Генерал – это присказка.

Сказка будет впереди.



Живем мы, так называемые лерюссы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимоприятием, как, например, планетная система, а – вопреки законам физическим – взаимоотталкиванием.<sup>6</sup>

Каждый лерюсс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его.

Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица “вор”, которую ставят перед именем каждого лерюсса: вор-Акименко, вор-Петров, вор-Савельев.

Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского “le” для обозначения пола именуемого лица, не то испанской приставки “дон”: дон Диего, дон Хозе.

Слышатся разговоры:

– Вчера у вора-Вельского собралось несколько человек. Были вор-Иванов, вор-Гусин, вор-Попов. Играли в бридж. Очень мило.

Деловые люди беседуют:

– Советую вам привлечь к нашему делу вора-Парченку. Очень полезный человек.

– А он не того... не злоупотребляет доверием?

– Господь с вами! Вор-Парченко? Да это честнейшая личность! Кристальной души.

– А может быть, лучше пригласить вора-Кусаченко?

– Ну нет, этот гораздо ворее.

Свежеприезжего эта приставка первое время сильно удивляет, даже пугает:

– Почему вор? Кто решил? Кто доказал? Где украл?

И еще больше пугает равнодушный ответ:

– А кто ж его знает – почему да где... Говорят – вор, ну и ладно.

– А вдруг это неправда?

– Ну вот еще! А почему бы ему и не быть вором!

И действительно – почему?



Соединенные взаимным отталкиванием, лерюссы определенно разделяются на две категории: на продающих Россию и спасающих ее.

---

<sup>5</sup> “Что делать?” (от *фр.* Que faire?)

<sup>6</sup> Русские (от *фр.* les russes).

Продающие живут весело. Ездят по театрам, танцуют фокстроты, держат русских поваров, едят русские борщи и угощают ими спасающих Россию. Среди всех этих ерундовых занятий совсем не брезгают своим главным делом, а если вы захотите у них справиться, почему теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли смогут дать толковый ответ.

Другую картину представляют из себя спасающие: они хлопочут день и ночь, бьются в тенетах политических интриг, куда-то ездят и разоблачают друг друга.

К “продающим” относятся добродушно и берут с них деньги на спасение России. Друг друга ненавидят белокаленной ненавистью:

– Слышали, вор-Овечкин какой оказался мерзавец! Тамбов продает.

– Да что вы! Кому?

– Как кому? Чилийцам!

– Что?

– Чилийцам – вот что!

– А на что чилийцам Тамбов дался?

– Что за вопрос! Нужен же им опорный пункт в России.

– Так ведь Тамбов-то не овечкинский, как же он его продает?

– Я же вам говорю, что он мерзавец. Они с вором-Гавкиным еще и не такую штуку выкинули: можете себе представить, взяли да и переманили к себе нашу барышню с пишущей машинкой как раз в тот момент, когда мы должны были поддержать Усть-Сысольское правительство.

– А разве такое есть?

– Было. Положим, недолго. Один подполковник – не помню фамилии – объявил себя правительством. Продержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело было бы выиграно. Но куда же сунешься без пишущей машинки? Вот и проворонили Россию. А все он – вор-Овечкин. А вор-Коробкин – слышали? Тоже хорош. Уполномочил себя послом в Японию.

– А кто же его назначил?

– Никому не известно. Уверяет, будто было какое-то Тирасполь-сортировочное правительство. Существовало оно минут пятнадцать-двадцать, так... по недоразумению. Потом само сконфузилось и прекратилось. Ну а Коробкин как раз тут как тут, за эти четверть часа успел все это обделать.

– Да кто же его признает?

– А не все ли равно! Ему, главное, нужно было визу получить – для этого он и уполномочился. Ужас!

– А слышали последние новости? Говорят, Бахмач взят!

– Кем?

– Неизвестно!

– А у кого?

– Тоже неизвестно. Ужас!

– Да откуда же вы это узнали?

– Из радио. Нас обслуживают три радио: советское “Соврадио”, украинское “Укранио” и наше собственное первое европейское – “Переврадио”.

– А Париж как к этому относится?

– Что Париж? Париж, известно, – как собака на Сене. Ему что!

– Ну а скажите, кто-нибудь что-нибудь понимает?

– Вряд ли! Сами знаете, еще Тютчев сказал, что “умом Россию не понять”, а так как другого органа для понимания в человеческом организме не находится, то и остается махнуть рукой. Один из здешних общественных деятелей начинал, говорят, животом понимать, да его уволили.

– Н-да-м...



– Н-да-м...

Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством:

– Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?

Действительно – ке?

## Ностальгия

*Пыль Москвы на ленте старой шляпы  
Я как символ свято берегу...*

### *Лоло*

Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал:  
– Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия.  
Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут.  
Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло.  
Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще.  
Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут.  
Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа – душа, обращенная на восток.  
Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли.  
Боялись смерти большевистской – и умерли смертью здесь.  
Вот мы – смертью смерть поправшие.  
Думаем только о том, что теперь *там*. Интересуемся только тем, что приходит *оттуда*.  
А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли, и силы...



– Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить: и некому, и нечем.  
Остались леса. И трава, зеленая-зеленая, русская.  
Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихняя l'herbe, а не наша травка-муравка.<sup>7</sup>  
И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают.  
У нас каждая баба знает – если горе большое и надо попричитать – иди в лес, обними березоньку, крепко, двумя руками, грудью прижмись, и качайся вместе с нею, и голоси голосом; словами, слезами изойди вся вместе с нею, с белою, со своею, с русской березонькой!  
А попробуйте здесь.  
– Allons au Bois de Boulogne embrasser le bouleau!<sup>8</sup>  
Переведите русскую душу на французский язык... Что? Веселее стало?  
Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку, как бежит она, перепрыгивая с камушка на камушек, струйками играет, простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое:  
– Наша речка русская!  
Ффью! Вот тебе и Третий Интернационал!  
Как тепло!

---

<sup>7</sup> Трава (фр.).

<sup>8</sup> Пойдемте в Булонский лес обнимать березу! (фр.)

Ведь, пожалуй, скоро и *там* сирень зацветет...



У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена.

Плавна, самая настоящая – толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит.

Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню.

Там француженка кухарка готовит поздний французский обед.

– *Asseyez-vous!* – подставляет она табуретку.<sup>9</sup>

Нянька не садится.

– Не к чему, ноги еще, слава богу, держат.

Стоит у двери, смотрит строго.

– А вот скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось молчишь! Молчать всякий может, молчать очень даже легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать.

Вот что!

– Я в суп кладу селлери и зеленый горошек! – любезно отвечает кухарка.<sup>10</sup>

– Вот то-то и оно... Как же ты к заутрене попадешь без благовесту? То-то, я смотрю, у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя... А почему у вас собак нет? Этаким город большой, а собак – раз-два, да и обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат.

– Четыре франка кило, – возражает кухарка.

– Теперь вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать – клюкву бабы на базар вынесли, первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, и киселя-то никогда не пробовала!

– *Le président de la republique?* – удивляется кухарка.<sup>11</sup>

Нянька долго стоит у дверей у притолоки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил.

Наговорится, напечалится, съжится, будто меньше станет, и пойдет в детскую, к ночным думкам, к старушым снам – все о том же.



Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через два месяца большевизму конец. Слушают аптекаря. И бледные, обращенные на восток души чуть розовеют.

– Ну, конечно, через два месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть!

Привыкла к “пределам” человеческая душа и верит, что у страдания есть предел.

Раненый умирал в страшных мучениях, все возрастающих. И никогда не забуду, как повторял он все одно и то же, словно изумляясь:

– Что же это? Ведь этого же *не может* быть!

Может.

---

<sup>9</sup> Садитесь (*фр.*).

<sup>10</sup> Сельдерей (от *фр. céleri*).

<sup>11</sup> Президент республики? (*фр.*)

## Воскресенье

Душно... Душно...

Парижане за неделю точно выдышали весь воздух, и на воскресенье его не хватает.

Или так кажется, потому что именно в воскресенье полагается вздохнуть свободно – тут-то и видишь, что воздуха нет.

Магазины закрыты. Весь Париж отхлынул куда-то по трамваям, автобусам, по кротовым коридорам метро.

Дышать поехали.

В такси непривычные парочки. Она – в нитяных перчатках и хорошей шляпке или в хороших перчатках и скверной шляпке – в зависимости от магазина, в котором она служит. Он – в щегольском галстуке и помятом котелке или, наоборот, в помятом галстуке и щегольском котелке – тоже в зависимости от магазина, где он состоит приказчиком. Оба напряженно улыбаются от удовольствия и конфуза собственным великолепием.

В трамваях более солидная публика, знающая суетность мирских наслаждений и понявшая, что истинное счастье – деньги, не расточаемые, а накапливаемые и сберегаемые в банке. В трамваях лавочки с женами и детьми, пузатые старички с толстоносыми старухами.

Все едут. Уехали.



В маленькой русской церковке идет богослужение.

Седобородый священник умиленно и торжественно говорит прекрасные слова молитвы: “Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси...”

Господин с тонко выработанным пробором – сколько лысина позволяет – благоговейно склонил голову и шепчет соседу:

– А я забыл ваш телефон. Мерси. Ваграм или Сакс?

– Онз сис, Ваграм, – истово крестясь, отвечает сосед.<sup>12</sup>

Молится седобородый священник о русских митрополитах, может быть, уже убитых, о православной церкви оскверненной, с поруганными иконами, с ослепленными ангелами...

– Интересно знать, – молитвенно закатывая глаза, шепчет дама, крашенная в рыжее, даме, крашенной в черное, – настоящие у нее серьги или нет.

– А мне вчера в концерте понравилось платье Натальи Михайловны. Я бы сделала себе точно такое, только другого цвета и другого фасона.

На паперти, щурясь от яркого желтого солнца, толпятся нищие... духом и толкуют про свои дела.

– Сговорились встретиться здесь с Николай Ивановичем, и вот уже полчаса жду.

– А может быть, он внутрь прошел?

– Ну! Чего ради!

– О чем это там братья Гвоздиковы с Копошиловым говорят? И Синуп с ними...

– Кабаре открывать собираются.

– Не кабаре, а банк.

– Не банк, а столовую.

– Кооператив с танцами.

---

<sup>12</sup> Одиннадцать шесть (от *фр.* onze six).





Надо дышать.

Пойдем в “Jardin des Plantes”.<sup>13</sup>

Душный ветер гонит сорную пыль.

Треплет праздничные юбки, завивает их о кривые ноги воскресных модниц в нитяных перчатках и пышных шляпках (и наоборот), сбивает с шага ребятишек, подшлепываемых заботливой материнской рукой. Посыпает песком мороженое и вафли у садового ларька.

Деревья качают тяжелыми тусклыми листьями, как непроявленные картинки декалькомани.

Длинное здание с решетками. Это клетки.

В одной клетке спит большая серая птица. В другой спит-дышит чья-то бурошерстая спина. Гиена, что ли.

В третьей – лев. Маленький, желтый, аккуратный, весь вылизанный с расчесанной драконской гривой.

Сидит в профиль и зеваает, зашурив глаза.

Перед клеткой толпа в пять рядов. Напирают, давят, лезут, поднимают детей на плечи, чтобы лучше видели, как лев зевает.

Нежная мать с перьями дикобраза на шляпе высоко подняла крошечную голубоглазую девочку.

– Regarde la grosse bête! Vois-tu la grosse bête? <sup>14</sup>

Девочка таращит глаза, но между нею и “grosse bête” поместилась толстая курносая дама с сиренево-розовыми щеками.

Девочка видит только ее и все с большим ужасом таращит на нее голубые глазенки.

– La grosse bête!

Вырастет девочка большая и будет говорить:

– Какие у меня странные воспоминания детства. Будто показывали мне какого-то льва с сирневыми щеками в полосатой кофте, толстого-толстого с бюстом и в корсете... Что это за львы были в те времена? Чудеса! А так ясно помню, словно вчера видела.



В ресторанчике служащая мамзель заботливо вычеркивает перед вашим носом каждое выбранное вами в меню блюдо и, глядя в ваши, полные кроткого упрека, глаза, посоветует есть морковь.

– Des carottes.<sup>15</sup>

Но ведь есть ресторанчики с определенным обедом. Это спасение для человека с дурно направленной фантазией, выбирающего то, чего нет.

В ресторане с определенным обедом вам дадут две редиски, потом пустую тарелку, сбоку которой, по самому бордюру, ползет подсаленный (для того, чтобы полз) огрызок говядины. Подается он под различными псевдонимами – cotelette d’agneau, boeuf frit, chateaubriant, lapin,

---

<sup>13</sup> Ботанический сад (фр.).

<sup>14</sup> Посмотри, какая большая зверюга! Видишь, большая зверюга? (фр.)

<sup>15</sup> Морковь (фр.).

gigot, poulet. Отвечает за быка, зайца, курицу и голубя. Не пахнет ни тем, ни другим, ни третьим. Пахнет теплой мочалой.<sup>16</sup>

Потом подадут пустую тарелку.

– Отчего она рыбой пахнет?

– Saumon suprême.<sup>17</sup>

– Ага!

Но ее совсем не видно – этой saumon suprême. Верно, кто-нибудь раньше вас съел.

Потом вам дают облизать тарелку из-под шпината (в ресторанах получше музыка при этом играет что-нибудь из “Тоски”).

Потом вы облизываете невымытое блюдечко из-под варенья и торопитесь на улицу, чтобы успеть, пока не закрылись магазины, купить чего-нибудь съедобного.



Театров много. Французы играют чудесно.

В одном театре идет Ки-Ки, в другом Фи-Фи, в третьем Си-Си.

Потом вы можете увидеть: “Le danseur de Madame”, “Le bonheur de ma femme”, “Le papa de maman”, “La maman de papa”, “La maman de maman”, “Le mari de mon mari”, “Le mari de ma femme”.<sup>18</sup>

Можете посмотреть любую; это то же самое, что увидеть все. Некоторые из них очень серьезны и значительны. Это те, в которых актер в седом парике подходит к самой рампе и говорит проникновенно:

– Faut être fidèle à son mari.<sup>19</sup>

Растроганная публика рукоплещет, и сидящий в десятом ряду русский тихо поникает головой:

– Как у них прочны семейные устои. Счастливые!

– Fidèle à son mari! – рычит актер и прибавляет с тем же пафосом, но несколько нежнее: – Et à son amant.<sup>20</sup>



Кончается душный день.

Ползут в сонных трамваях сонные лавочницы, поддерживая отяжелевших сонных ребят. Лавочники, опираясь двумя руками на трость, смотрят в одну точку. Глаза их отражают последнюю страницу кассовой книги.

У всех цветы. Уставшие, с ослизлыми от потных рук стеблями, с поникшими головками.

Дома их поставят на прилавок между ржавой чернильницей и измусленной книжкой с адресами. Там тихо, не приходя в себя, умрут они – такие сморщенные и бурые, что никто даже и не вспомнит, как звали их при жизни – тюльпанами, полевыми астрами, камелиями или розами.

---

<sup>16</sup> Отбивная из ягненка, жареная говядина, шатобриан, кролик, баранья нога, цыпленок (фр.).

<sup>17</sup> Филе лосося (фр.).

<sup>18</sup> “Танцор Мадам”, “Счастье моей жены”, “Папа мамы”, “Мама папы”, “Мама мамы”, “Муж моего мужа”, “Муж моей жены” (фр.).

<sup>19</sup> Нужно хранить верность своему мужу (фр.).

<sup>20</sup> Верность своему мужу!... – И своему любовнику (фр.).

Устало и раздраженно побрякивая, тащат такси целующиеся парочки в нитяных перчатках и хороших шляпках (или наоборот). И в их руках умирают потерявшие имя и облик цветы.

По кротовым коридорам гудят-гремят последние метро. Качаясь на ногах, выползают из дыр земных усталые, сонные люди.

Они как будто на что-то надеялись сегодня утром, и надежда обманула их.

Вот отчего так горько оттянуты у них углы рта и дрожат руки в нитяных перчатках.

Или просто утомила жара и душная пыль...

Все равно. Воскресный день кончен.

Теперь – спать.



Наши радости так похожи на наши печали, что порою и отличить их трудно...

## Сырье

В большом парижском театре русский вечер.

Русская опера, русский балет, талантливые пестрые отрывки воспоминаний и разговоры, похожие на прежние. Прежний петербургский балетоман тонко разбирает, щеголяя техническими терминами, пуанты и баллоны.

Все старое, все похожее на прежнее.

Новое и непохожее только “Она”.

Великая Печаль.

В разгаре пустого или дельного разговора – она подойдет, погасит глаза говорящим, горько опустит углы рта, сдвинет им брови и на вопрос о “заносках” ответит:

– Говорят, что холод и голод будущей зимы унесут половину населения России...

Мы знаем, что ее слова бестактны. Мы гости и ведем себя вполне прилично.

У нас дома смертельно больной человек. Но мы пошли развлечься в кругу знакомых. Мы оделись “не хуже других”, и улыбаемся, и поддерживаем салонный разговор – говорим о чужом искусстве, чужой науке, чужой политике. О себе молчим – мы благовоспитанные. Даже о Толстом и Достоевском, всегда вызволивших нашу расхлябанную телегу из самого зеленого трясиного болота, мы упоминаем все реже и реже.

Стыдно как-то.

Словно бедная родственница, попавшая в богатый дом на именины и вспоминающая:

– И была у меня в молодости, когда мы еще с мужем в Житомире жили, удивительная шаль...

– Чего это она раскрякалась? – недовольным шепотом спрашивают друг у друга хозяева.

– Хочет, видно, доказать, что из благородных.

Да и к чему тут Толстой и Достоевский? Все это было и вместе с нами умерло, и здесь, в нашей загробной жизни, никакой роли не играет и никакого значения не имеет.

Все это ушло в словари: “см. букву «Д» и букву «Т»”.

Теперь интересуются не русской культурой, а кое-чем диаметрально противоположным.

Русским сыром.

“Сырье” – самое модное слово.

Жили-жили, творили, работали, а вышло одно сырье, да и то – другим на потребу.

Сырье!

В русском человеке очень слаба сопротивляемость, резистенция. От природы мягки, да и воспитание такое получили, чтобы не “зазнаваться”.

Даже с гордостью говорят, что вот такой-то ученый или профессор, или артист, литератор, художник – служит где-то простым рабочим.

– Молодец, – говорят. – Научат его за границей правильному труду, технике.

Как же не молодец и как же на него не радоваться!

Забудет свое настоящее, яркое и индивидуальное, и пойдет в чужое сырье.

О русском искусстве, русской литературе – в особенности о русской литературе – скоро перестанут говорить. Все это было. Нового нет. Работать никто не может. Могут только вспоминать и подводить итоги.

Говорят:

– Помните – я писал... Помните – я говорил...

Вспоминают о своей живой жизни в здешней загробной.

Да и как писать? Наш быт умер. Повесть о самом недавнем прошлом кажется историческим романом.

Там, в Совдепии, тоже не работают. Мы видим по газетам и по рассказам, что в театрах идут все старые вещи.

Остановились. Идем в сырье.

Мне кажется, нашим хозяевам, у которых мы сейчас в гостях, должен иногда приходиться в голову вопрос: “Как могут они жить, то есть одеваться, покупать вещи, обедать и ходить в театры смотреть наши развеселые пьесы, когда каждый день приемный аппарат радио отстывает новые стоны и предсмертные крики их близких?”

Наверное, так спрашивают они себя.

Но мы-то знаем, как мы живем, и знаем, что *так* жить можем.

Да – едим, одеваемся, покупаем, дергаем лапками, как мертвые лягушки, через которых пропускают гальванический ток.

Мы не говорим с полной искренностью и полным отчаянием даже наедине с самыми близкими. Нельзя. Страшно. Нужно беречь друг друга.

Только ночью, когда усталость закрывает сознание и волю, Великая Печаль ведет душу в ее родную страну. Ведет и показывает беспредельные пустые поля, нищие деревушки, как опметки – ломаные палки да клочья гнилой соломы, – пустые могучие реки, где только чайки ловят рыбу и обнаглевший медведь, бурый зверь, средь бела дня идет на водопой воду лакать. И показывает пустые гулкие шахты, и тянет душу дремучими заглохшими лесами в сказочные города с пестрыми мертвыми колокольнями, с поросшими травой мостовыми, где труп лошади лежит у царского крыльца – шея плоская вытянута, бок вздут, а рядом, на фонарном столбе, что-то длинное, темное кружится, веревку раскручивает.

И летят по небу черные вороны со всех четырех сторон. Много их, много. Опустятся, подымутся, снова опустятся, кричат, скликают. И не дерутся. Чего тут – на всех хватит!

Хватит сырья.

## Как мы праздновали

Думали – будет, как у нас: останятся трамваи и водопровод, погаснут лампы, повиснут в воздухе лифты, ночью начнутся обыски, а утром известят, что похороны праздничных жертв назначаются через три дня.

И вдруг – сюрприз! Все в порядке.

Вот тебе и 14 июля!

Как-то не верилось.

Выходя на улицу, спросили у консьержа:

– С какой стороны стреляют?

Тот сначала удивился, потом улыбнулся, точно что-то сообразил, и ответил:

– Танцуют? Я не знаю где.

Он, вероятно, думал, что мы плохо говорим по-французски!

Вышли на улицу. Посмотрели. Беспокойно стало, красного много.

– Я, знаете, предпочитаю в такие дни дома сидеть, – сказал один из нас.

– В какие такие?

– Да вот когда такие разные народные гулянья. По-моему, вообще все должны в такие дни дома сидеть.

– Какое же тогда гулянье, когда все дома сидят! Тоже скажете!

– Не люблю я этого ничего. Прислуга вся ушла, обед не сготовлен, трамвай, того гляди, забастует – одна мука. Я уж так и знал! Как это самое гулянье или патриотическое торжество – так, значит, жуй целый день сухомятину, а если нужно куда поспешить, так при пехом.

– А все-таки, – сказала одна из нас, – интересно бы посмотреть, как танцуют на площадях.

Мы ведь в первый раз четырнадцатого июля в Париже.

– Уверяю вас, что никто ничего танцевать не будет. Верите вы мне или нет?

– Почему же не будет?

– Потому что, во-первых, жарища, во-вторых, лень.

– Странное дело – столько лет не ленились, а сегодня как раз заленятся.

– Ну вот помяните мое слово. Верите вы мне или нет?

– Однако – долго мы будем посреди улицы стоять? Нужно же на что-нибудь решиться.

– Завтракать надо, вот что.

– Отлично. Я вас поведу в очень интересное место. Верите вы мне или нет?

– Да зачем же далеко идти – тут ресторанов сколько угодно.

– Нет уж, покорно благодарю, отравляться. Сядем в метро и через пять минут будем в чудесном ресторанчике.



– Очевидно, мы не там вылезли. Ресторан должен быть тут сразу налево.

– Да на какой улице-то, говорите толком.

– На какой? Да здесь где-то. Надо спросить... Экутэ! Пардон, мосье, силь ву плэ – ле ресторан. Болван какой-то попался – сам ничего не знает.<sup>21</sup>

– Да чего долго искать – пойдем в первый попавшийся, все они одинаковы.

– Ну нет, я тоже отравляться не желаю. Сядем в метро и через пять минут...

– Да вы нас уж полчаса в метро мотали – куда еще?

---

<sup>21</sup> Послушайте! Извините, мсье, пожалуйста – ресторан (*искаж. фр.*).

– Мы не там вылезли. Верите вы мне или нет? Через пять минут...



– Черт! Ведь был же здесь ресторан! Провалился он, что ли? Знаете что, господа? Вот что я вам предложу: сядемте в метро и через пять минут...

– Ну нет, как хотите, а я больше не ездец. Тут четырнадцатое июля, люди веселятся, музыка гремит, а мы, как кроты, ковыряемся под землей.

– Не хочу.

– Да где же у вас музыка гремит?

– Где-нибудь да гремит же! Ведь четырнадцатое июля.

– Не знаю. Я, по крайней мере, музыки не слышал.

– Еще бы, когда мы с одиннадцати часов утра из-под земли не вылезаем.

– Даю вам слово, что через пять минут, даже меньше – через четыре с половиной – мы будем в чудесном ресторане. Уж все равно столько ездили – лишний час дела не поправит и не испортит.

– Ча-ас? Как час? Вы говорите пять минут.

– Чистой езды пять, ну да пока сядем, пока вылезем, пока найдем, пока дойдем.

– Ну, господа, чем спорить, уж лучше скорее поедем. Все равно здесь ничего нет.



– Силь ву плэ...

– Да вот же под самым носом какой-то ресторанчик.

– Между прочим, уже четыре часа, так что завтрака мы все равно не достанем. Придется à la carte.

– Ну уж теперь не выбирать. У меня от голода голова кружится.

– Ну и ресторан. Прислуги нет, одна баба с флюсом.

– Ничего, я сейчас закажу.

– Спросите, что у нее есть.

– Кэс кэ ву завэ?<sup>22</sup>

– J'ai mal aus dents, monsieur!<sup>23</sup>

– Что она говорит?

– Не знаю, не разобрал.

– Так переспросите.

– Как-то неловко.

– Ну что у нее может быть – наверное, гадость какая-нибудь.

– Наперед говорю – я этого есть не стану.

– Может быть, у нее ветчина есть?

– Бесполезно спрашивать.

– Одного не могу понять – чего мы рыскаем по каким-то задворкам, когда мы можем идти в любой знакомый ресторан!

---

<sup>22</sup> Что у вас? (искаж. фр.)

<sup>23</sup> У меня болят зубы, мсье! (фр.)

– Ну что за тоска! Четырнадцатого июля нужно именно в каком-нибудь маленьком красочном кабачке, чтобы кругом плясала пестрая толпа под звуки самодельной скрипки и чтобы тени великого прошлого...

– Мне определенно хочется ветчины.

– Помните, мы как-то заходили на Монпарнасе в какое-то кафе? Там была неплохая ветчина.

– А ведь верно. От добра не ищи добра. Сядем в метро и через пять минут будем есть чудесную ветчину.

– Господа, смотрите направо. Видите? Там толпа... Ей-богу, танцуют! Бежим скорее.

– Да плюньте вы! Ну чего вы не видали! И танцуют-то, наверное, прескверно.

– Потом посмотрите. Нельзя же весь день не евши, по такой жарнице болтаться.

– Ну-с, я бегу на метро...



– Комман? Па де жамбон? Ну уж это, знаете свинство! Он говорит, что па де жамбон. Что? Кафэ о лэ? Еф о пля? Сам лопай! Идем, господа, отсюда.<sup>2425</sup>

– Я предлагаю идти домой. Я сегодня видела, как кому-то несли ветчину.

– Ветчину? Где?

– У нас в отеле.

– Ну так пойдемте, чего же вы молчали.

– Неужто домой? Как-то неловко. Все-таки четырнадцатое июля... Великие танцы на площади... тени под самодельной скрипкой.



Ветчины в отеле не оказалось. Ее съели какие-то русские. По-моему, празднование 14 июля в этом году было не особенно удачное. По крайней мере, на меня оно произвело впечатление чего-то очень тусклого и плохо организованного. Какая-то бестолочь и вообще...

---

<sup>24</sup> Как? Нет ветчины? (*искаж. фр.*)

<sup>25</sup> Кофе с молоком? Яичница? (*искаж. фр.*)



## Файфоклоки

Рецепт приготовления файфоклока следующий:

1 кило миндального печенья.

На 5 франков кексу.

На 10 какой-нибудь дряни.

1 кило конфет.

1 лимон.

Все это режется и раскладывается по тарелкам в виде звезд или каких-нибудь геометрических фигур – ромбов, квадратов, концентрических кругов.

Делается это для того, чтобы с первого же момента поразить воображение гостя, чтобы он присмирел и понял, что попал не так себе куда-нибудь, а в дом, где любят красоту и ценят искусство. Красота – это, как известно, страшная сила, и уложенная винтом баба (я говорю, конечно, про печенье, а не про женщину) производит впечатление гораздо более яркое и острое, чем просто натяпанная кривыми ломтями. Можно еще купить орехов. Но к ним следует относиться как к элементу декоративному и щипцов не класть. От них, если позволишь их есть, только треск и сор. А так, без щипцов, если какой гость и надумает взять, то недалеко уедет: повертит в пальцах, лизнет и сунет потихоньку под пепельницу.

Если гость строптивый и задира, то надо дать понять, что вы его штуки заметили и не одобрили – берешь, мол, добро, есть не ешь, а только изводишь. От этого он делается скромнее и иногда даже начинает говорить комплименты.

Если вы натуральный беженец и живете в одной комнате, то для настоящего светского файфоклока вы непременно должны придать вашему помещению элегантный вид: выбросить из пепельницы присохшие к ней косточки от вишен, старые туфли засунуть подальше под кровать, а новые, наоборот, выставить около окошка – пусть сверкают. Умывальную чашку можно скрыть под небрежно развернутым японским веером.

Словом – иногда самыми маленькими усилиями можно достигнуть потрясающих эффектов.

Между прочим – если у вас есть стул с расхлябанной ножкой – не стыдитесь и не прячьте его. Он вам сослужит службу: если к вам придет очень важный гость, презирает ваш кекс и спросит, есть ли при вашей комнате *salle de bain* – сажайте его немедленно на этот стул. Он потеряет равновесие, брыкнет ногой и попытается обратить все в шутку. А вы улыбнитесь “с большой выдержкой” и скажите:<sup>26</sup>

– Ах, пустяки, не стоит обращать на это внимание. Здесь мебель, хотя и дорогая, но очень непрочная.

Тогда он подумает, что сам сломал ножку и сильно сконфузится. Тут берите его голыми руками.

Разговоры за файфоклоками нужно вести на самые светские темы, а вовсе не о том, что вас лично в данный момент больше всего интересует.

Допустим, ваша душа занята тем, что утром сапожник содрал с вас 15 франков за новую подметку. Как бы ни были вы полны этими переживаниями, говорить о них не следует, потому что все притворятся, что их такая мелочь никогда не интересовала, и даже не сразу поймут, кэскесэ, мол, подметка.<sup>27</sup>

Говорите об опере, о туалетах. Только не надо говорить непременно правду:

---

<sup>26</sup> Ванная комната (*фр.*).

<sup>27</sup> Что это? (*искаж. фр.* *Qu'est-ce que c'est?*)

– В оперу не хожу – денег нет.

Или:

– Сегодня утром смотрю – ах! – на новом чулке дырка!

Это не то. Надо держать высокий тон.

– Французы не понимают даже Чайковского, как вы хотите, чтобы они претворили (непременно скажите “претворили”, я на этом настаиваю) Скрябина?

Или так:

– Пакэн повторяется!

И больше ничего. Пусть все лопнут.

Если разговор очень вялый, вы можете легко оживить его, бросив вскользь:

– Видела вчера в церкви Анну Павловну. Какая красавица!

Тут-то и начнется.

– Анна Павловна красавица? Ну уж это, я вам скажу...

– Анна Павловна харя.

– Она одевается недурно, но ведь она ужасна!

– Одеты она всегда возмутительно! Я даже не понимаю, где она заказывает эти ужасы. Ее выручает смазливое личико...

– Личико?! У нее муравьиный нос. Фигура только и выручает.

– Горбатая... Один бок...

– У нее три ноги...

– У нее, скорее, фигура смазливая, чем лицо.

– Характер у нее смазливый, а не фигура.

– Несчастный муж! Жена, кажется, продается направо и налево...

– Женщине шестой десяток и вечно за ней хвост мальчишек.

– Очевидно, умная женщина. Раз ей шестьдесят лет, да еще и урод она, и одевается скверно, так за что же ей платят?

– Анна Павловна умна? Вот уж разодолжили! Дура петая-перепетая.

– А много ли им нужно! Была бы хорошенькая мордочка.

– Да одевалась бы хорошо.

– Так, значит, она хорошенькая?

– Совершенная цапля, только коротенькая... Кривая.

– Ну вот! А вы говорите – продается.

– Сама всем платит.

– Что же – значит богатая?

– Ломаного гроша нет. Я ей сама старую шляпку подарила.

– Так как же тогда? Чем же она платит?

– Ах, какая вы наивная! Уж поверьте, что на это найдется.

– А на вид ей не более тридцати.

– Ах, какая вы наивная! Ей на вид все восемьдесят.

Это разговор специально дамский.

Для возбуждения мужских страстей вы вскользь бросаете:

– Интересно мнение большинства. Следует нам вообще объединиться, разъединиться или отъединиться.

Тут пойдет.

В общем, эти разговоры, если их не сбивать, могут длиться часа три-четыре.

Но если вам захочется есть, то вы всегда можете мгновенно погасить энтузиазм толпы и элоквенцию ораторов простой фразой, произнесенной вполголоса:

– Ах, я и забыла! Меня просили продать тридцать билетов на благотворительную лотерею. И куда это я их засунула... надо поискать.

Ровно через полторы минуты ваша комната останется пустой.

Окурки, бумажки от конфет, сизый дым, огрызки печенья – унылые клочья бывшего фойе – унылые фойефоклоchia.

Последние крики на лестнице:

– Заходите!

– Позвоните!

– Шшш... не крие па сюр лескалье! <sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Не кричите на лестнице! (*искаж. фр. Ne criez-pas sur l'escalier!*)

## Башня

Нам давно даны эстетические директивы: не любить Эйфелеву башню.

Она пошлая, она мешанская, она создана только для того, чтобы *épater les bourgeois*, она – не знаю что, она – не помню что, но, словом, ее любить нельзя. Я очень покорная. Нельзя, так нельзя. И первые дни моего пребывания в Париже не только не обращала на нее внимания, но, случайно завидев издали, отворачивалась и делала вид, что ничего не заметила.<sup>29</sup>

– Это там, где Эйфелева башня, – объяснял мне кто-то свой адрес.

– Не потребуете ли вы и в самом деле, чтоб я ориентировалась по этой четырехлапой дурище!

Эйфелева башня для меня не существовала.

Вид ее меня раздражал. Она так не ладится, так не вместе со всем городом! Точно перечница из великаньего царства, всунутая в лилипутский городок, резной, бумажный, хрупко склеенный. Может быть, у себя в великаньем царстве она и была вещица хоть куда, а тут урод уродом, и не “прижилась” за десятки лет, не стала своей, а торчит, чужая и неладная.

Не полюбила я ее. Как было приказано эстетическим декретом, так и не полюбила.



Возвращаясь поздно вечером, мы сели на скамеечку в Трокадеро.

Посмотрели на небо.

Ночью мы всегда смотрим на небо. Днем мы его не видим. Днем оно маленькое, серое, сдавленное, перерезанное трубами, крышами, столбами, проволоками. Ночью – всегда большое, как бы ни было мало видимое нами пространство. Мы чувствуем его, огромное, прозрачное, и поднимаем к нему глаза.

Нам, русским, почему-то всегда кажется, что мы должны отыскать Большую Медведицу. На что это нам – сами не знаем, но ищем озабоченно, деловито крутя шеей и тыча пальцем в созвездие Ориона.

Почему стараемся – никому не известно. Может быть, потому, что жутко ночное небо и хочется поскорее найти на нем старых знакомых, чтобы не чувствовать себя чужим и одиноким.

Глядя на звездное небо, всегда думаешь о бесконечном пространстве, о вечности – о смерти и одиночестве.

– Помилуйте, сударыня, какое тут одиночество, тут столько знакомых. Разрешите, я вам назову фамилии: вот Сириус, вот Кассиопея, а вот и Большая Медведица, ее все знают, она живет с этим, как его...

– Тсс-с... не говорите об этом по-русски – *elle comprend*.<sup>30</sup>

Отсюда, с горы, виден весь город.

Он плоский, чуть зыбится, поблескивая, как озеро в тумане. Над ним прозрачная ночная пустота, а над ней луна.

Луна сегодня не одна. Около нее огромная черная тень уперлась в землю раскосыми ногами, поднялась узкой кружевной верхушкой и цедит на луну круглые, дымные облака. Луна бежит, крутится, отбивается, золотая, веселая, видно, что играет. А город весь внизу, со своими

---

<sup>29</sup> Эпатировать буржуа (*фр.*).

<sup>30</sup> Она понимает (*фр.*).

трубами и проволоками, весь плоский и туманный. Он совсем отдельно. Над ним пространство. Наверху, высоко, только эти двое – луна и черная тень. Башня.

Мелькнула искра в черной четкой резьбе, и глубоко, в самом сердце башни, ударил звонкий молоточек.

– Дзинь – раз! Дзинь – два... четыре... восемь... двенадцать! Двенадцать часов.

– Африка!.. Америка! Север, юг, запад, восток! Слышите?

Она, черная башня, сказала вам, что сейчас полночь!

Они слышат. Все аппараты всего земного шара слышали ее звон и отметили. Теперь, вот в эту минуту, на всем земном шаре стало двенадцать часов.

Заплыла за темное облако, спряталась луна. Если бы у нее были часы, она бы тоже отметила.



Несколько лет тому назад была я в Соловецком монастыре.

Крутил вокруг острова злой ветер, тряс соснами, гудел скалами, плевал морской пеной до самой колокольни – не давал плыть домой.

Чайки сбились на монастырском дворе, кричали-лаяли, тоскливо и злобно, стерегли своих детенышей. А по длинным монастырским коридорам бродили богомольцы, крутили бородами на стенную роспись, вздыхали над черным дьяволом с красным пламенем, веником торчащим изо рта, и, отойдя в уголок, расправляли мятые ассигнации – заготовленную жертву – с крутой думой: хватит али подбавить – очень уж этот, с веником, грозен.

Стояли пестрой птичьей стаей поморки-богомолки в зеленых, в розовых, в лиловых платьях, все светлобровые, с русалочьими, чайачьими глазами: круглые желтые глаза с черным ободком и узкой черной точечкой-зрачком. Таких у людей не бывает. Смотрели на картины, цокали языком:

– Потоцка, булоцка.

Грамотейка в сиреновом платье, в розовом переднике, с жемчужным колечком на головной повязочке, водила пальцем по картине, читала и объясняла:

– Вот нецистый, вот целовека губит своей красотой, вот и огонь из роту.

Поморки вздыхали на дьяволову красоту, выраженную художником в виде песей, довольно симпатичной морды, мохнатых лап с перепонками, хвоста винтом и скромного коричневого передничка, подвязанного на животе.

Поодаль от богомолок стоял худенький, скуластый, с острой бородкой, монашек. Мочальные, прядистые волосы, скуфейка.

– Могу я вас спросить? – обратился он ко мне. – Не привезли ли вы газет?

Он, видимо, давно задумал спросить и не решался, так что даже покраснел.

– Главное-то мы знаем, а я почитать хотел.

– Откуда же вы главное знаете?

– А я здесь недалеко на радиостанции работаю. У меня такое послушание. Я в миру электротехником был. В монастырь редко попадаю – послушание там быть, на острове.

– Вы один там?

– Двое нас. Другой немой.

– Тяжело?

Он опять покраснел.

– Ночью – нет. Ночью она разговаривает.

– Кто? Кто разговаривает?

– Она. Эйфелева башня.

Чайки-поморки смотрели пустыми желтыми глазами на монашка, на черта с пламенем.  
Надрывно лаяли чайки-птицы, на дворе гулял ветер, мотал соснами.  
Эйфелева башня?

Существует Эйфелева башня и говорит по радиотелеграфу с монашком в скуфейке, с желтоглазыми чайками, с чертом с пламенем.

Эйфелева башня! Или ты сказка, или нас кто-то выдумал... а нам с тобой вместе на свете жить – уж больно диковинно!..



Прозвонил, ударил последний молоточек.

– Двенадцать.

Подождем.

Мелькнула искра. Что-то вздохнуло, загудело.

– Она сейчас начнет разговаривать.

Вот... вот...

Монашек в скуфейке! Записывай, записывай все. Что плохо нам, одиноко и страшно. Поморкам кланяйся, пусть язычком поцокают. Черту с пламенем расскажи, что далеко ему до разных других. Чайкам скажи... И отметь, что полночь сейчас на всем земном шаре, одинаковая, черная полночь. Отметь! Не бойся – так надо.

## Мертвый сезон

В августе начинается в Париже мертвый сезон. Saison morte, по выражению Lolo – сезон морд.

Все разъехались. По опустелым улицам бродят только обиженные, прожелкшие морды, обойденные судьбой, обеструвилленные, обездовилленные и обездоленные.

– Ничего, подождем. Когда там у них в Трувиллях все вымоются и в Довиллях все отпощатся и в прочих виллях отфлиртуются, когда наступит там сезон морд, тогда и мы туда махнем. У всякой овощи свое время. Подождите – зацветет и наша брюква! Пока что пойдем на sold'ы<sup>31</sup> покупать обжэ де люксы<sup>32</sup>: ломаную картонку, рыжий берет – последний крик умирающей моды, перчатки без одного пальца, сумочку с незапирающимся замком и платье с дырой на груди.

Купим, уложим и будем ждать, когда наступит на нашей улице праздник. Главное – быть готовым.

Поезда переполнены. Багажные вагоны завалены – в них, кроме обычной клади, возят сундуки с трупами. Переправлять трупы таким образом стало делом столь обычным, что приказчик, продавая сундук, заботливо спрашивает:

– Вам на какой рост?

И покупательница отвечает, опустив глаза.

– Нет, нет. Мне только для платья.

Скоро промышленность отзовется на спрос покупателей и выпустит специальные сундуки с двойным дном и с отделением для льда, чтобы скоропортящийся груз не так скоро “подал голос”. Ну да это местные заботы, и нам, пришельцам, собственно говоря, дела до них нет. Так только, из сочувствия интересуемся.



Уехавшие живут хорошо.

Письма пишут упоительные и соблазняющие.

“Я не мастер описывать красоты природы, – пишет молодой поэт, – скажу просто: 18 франков”.

Я заметила странную вещь: все пансионы во всех курортах стоят всегда 18 франков, когда о них говорят в Париже.

Но если вы поедете на место, с вас возьмут 25.

– Почему же?

– Потому что из вашего окна вид на море.

– Тогда дайте мне комнату в другую сторону.

– Тогда будет тридцать пять, потому что вид на гору.

– Давайте в третью сторону.

– Тогда будет сорок, потому что комнаты, которые выходят на двор, прохладнее и шума в них не слышно. Но в общем у нас комнаты по восемнадцать франков...



---

<sup>31</sup> Распродажи (фр.).

<sup>32</sup> Предмет роскоши (от фр. objet de luxe).

“Миленькая! Приезжайте непременно. У меня с носа уже слезла кожа – словом, вы будете в восторге. Кругом гуси, утки и можно приработать на конкурсе красавиц – выдают 200 франков и швейную машинку”.

Пишет златокудрая Наташа со строгими северными глазами, которым не верить нельзя.



Прожелкшие, обиженные судьбою морды при встречах друг другу советуют:

– Поезжайте в Contrexeville. Поправите почки.

– Да они у меня здоровы.

– Эка важность! Уж если вы такая добросовестная, так пошатайтесь по ресторанам, попейте шампанского, головой вам отвечаю, что через две недели ничего от ваших почек не останется.

Другая морда советует:

– В Экс вам надо. Ревматизм лечит.

– Да его у меня отродясь не бывало.

– Это так кажется. Иногда ведь и не замечаешь. Seriously. Иногда совсем здоровый человек умрет, все – ах, ах! отчего да почему. А потому что вовремя не лечился. Отсутствие болевых ощущений вовсе не есть признак здоровья и обратно. У иного человека так все болит, что он с места подняться не может – на носилках его носят и на простынях поворачивают. А на самом деле что же – здоров как бык. А другой прыгает, скачет, а как сделают после смерти вскрытие, оказывается – умер. Нет, уж вы знаете, лучше не запускайте.

Третья морда говорит убежденно:

– Чего вы тут сидите? Вам нужно торопиться печень лечить.

– Да у меня печень здорова.

– Ну это вы другим рассказывайте. Верьте мне, вам нужно печень лечить. Вон мою кузину послали же лечить печень. И вам надо.

– А меня посылают на морские купанья.

– Кто?

– Врач.

– Да плюньте вы на врача – ей-богу, чудака! Я вам говорю – вам надо печень лечить.

– Простите, но почему я должна плевать на врача, который прошел специальную школу, имеет опыт и знания, – и буду лечиться у вас, когда вы присяжный поверенный.

– Ну уж это, знаете ли, дамская логика. Женское рассуждение. Все бабы докторам верят. Как заболеют, так непременно к доктору. Много ваши доктора понимают! Я вам говорю, что вам надо печень лечить. Впрочем, как хотите – ваше дело.

– А вот один знакомый инженер советует мне лечиться от малокровия. У меня его, кажется, тоже нет – так, может быть, нужно полечиться?

– Ерунда. Что он понимает. Я вот еду – тут есть небольшой курортик, очень хорошо лечит от аппендицита.

– А разве у вас аппендицит?

– Нет, у меня скидка.

– Это что же за штука?

– Скидку мне там сделают, знакомый врач обещал. Раз скидка, так отчего же не полечиться? Непрактично было бы упустить.





У меня есть один знакомый из персонала собачьей лечебницы за городом, воздух хороший... Может быть, устроится хорошая скидка...



Морды прожелкшие, обойденные судьбой, ходят по опустелым улицам, дают друг другу советы, смотрят в окна магазинов на выгоревшую дешевку, празднуют свой сезон.

## Две встречи

У самого берега моря на пустыре, где гниют тряпки, кости и жестянки от консервов, – маленький домишко в полтора этажа с балкончиком, обсаженным ржавым плющом.

На фронтоне вывеска: “Большая Европейская Гостиница”.

Кругом “Большой Европейской Гостиницы” три-четыре изъеденных пылью дерева, у самого крыльца застланный газетой стол, на столе в тарелке нарезанный кривыми ломтями огурец, томаты и зеленый лук. За столом, в позе “джентльмена на веранде”, в засаленном буром кителе, нервно дергает обвисшими небритыми щеками бывлой красавец-жуир Андрей Николаевич Кармятов.

Когда-то он пел в любительских концертах, рассказывал старые анекдоты и служил в знаменитом пьяном полку, который, несмотря на дикие попойки, подрывавшие всякий престиж среди местного населения, никак нельзя было перевести в другой город – кредиторы не выпускали.

– Пусть сидят здесь ваши офицеры, мы им не мешаем, а хотят уйти – пусть сначала заплатят.

Ознакомившись с суммой долга, испуганное начальство оставляло полк в покое. А насчет престижа – эка беда! Офицеры и есть офицеры. Что им, Александро-Невскую лавру на постой послать, что ли?

Андрей Николаевич пел, пил и пленял женщин.

У него для пленения был целый музей – картины, альбомы и, главное, портреты знаменитостей с нежными автографами.

Пленяемые приходили робко и тайно, закутав голову черной вуалью, и с благоговением рассматривали портрет английского короля с орфографическими ошибками в начертанных им словах, фотографию Скобелева в гробу с собственноручной надписью, сделанной тем же почерком: “Герою от героя, Андрею Кармятову от Михаила Скобелева”, и карточку Сары Бернар: “À mon tendre André”.<sup>33</sup>

Отставка, война, опять отставка, революция... Лучше не вспоминать...

Андрей Николаевич вынимает из кармана фляжечку. В ней что-то мутное. Он долго взбалтывает ее и рассматривает на свет, затем, словно решившись, прикладывает к губам и, быстро откинув голову, глотает.

– Гм... Похоже. Положительно похоже...

Вилки нет. Он поворачивается к окошку и кричит:

– Вилку дайте!

Черный кривоносы мальчишка подает через окно вилку зубьями вперед и долго смотрит на Андрея Николаевича.

– Мерси.

Андрею Николаевичу хочется поговорить.

– Вы слышали, наверное, про “Фелисьена”? В Петербурге был такой ресторан – “Фелисьен”, – начинает он и тут же думает: “И к чему я это? – совсем уж глупо”. И, чтобы оправдать себя перед кривоносым мальчишкой, прибавляет, показывая рукой на крыльцо:

– Там немножко вроде этого.

Мальчишка скрывается. Андрей Николаевич долго, уставившись по-коровьи глазами вбок, жует огурец.

Из-за угла выходит лиловый лохматый пес с завороченным ухом, растерявший от старости и голоду и нюх, и смекалку. Он принимает огурец за говядину и, тихо дрожа, повизгивает.

---

<sup>33</sup> “Моему нежному Андре” (фр.).

Зашуршал песок под ногами. Одутловатая, плохо причесанная женщина в стоптанных башмаках на босу ногу идет, кутаясь в бурый платок.

– Ирина Петровна, c'est vous<sup>34</sup>? На солнышке чудесно!.. Mais au contraire<sup>35</sup>. Вы куда идете?

– Да вот надеюсь, что сегодня я слобуду ванну.

– Купаться! – улыбнулся Андрей Николаевич. – Ах! Счастливая вода!

У нее тусклые, усталые глаза, но она все-таки слегка покраснела и поправила волосы.

– Ирина Петровна!.. – шептал, глядя ей вслед, Андрей Николаевич. – La belle Irène!..<sup>36</sup>

И потом, повернувшись к лиловому псу, пояснил:

– Супруга нашего губернатора.

Жидкость на дне фляжки была еще мутнее, чем сверху, и Андрей Николаевич долго болтал ее, прежде чем выпить.

– Чер-рт знает! Кажется, уж и ни на что не похожа...

Долго задумчиво тыкал вилкой мимо огурца, потом опустил голову на руку и, глядя куда-то мимо засветившимися, похорошевшими глазами, тихо пропел:

– Pour un peu d'amour! Pour un peu d'amour!<sup>37</sup>

Подтянулись обвисшие небритые щеки, нежно поднялись брови и ласково-томно улыбнулся рот.

Ведь это он, красавец Кармятов, le tendre André.

– Ah! Pour un peu d'amour!

Лиловый пес зевнул и поймал муху.

Андрей Николаевич вздрогнул, словно проснулся, посмотрел кругом на грязный песок, на тряпки, на жестянки, на ржавый плющ и сказал, как хороший трагический актер говорит хорошим театральным шепотом, слышным даже в самом последнем ряду галерки:

– Кончено! Умерла Россия. Продали, пропили. Кончено!



На Rue de la Paix выставлены новые духи. Широкие граненые флаконы в пол-литра размером и маленькие, узкие, длинные, тревожно-драгоценные...

У витрины останавливаются, смотрят, читают названия, колеблются, проходят мимо или заходят в магазин.

Андрей Николаевич долго смотрел и долго колебался. Продолжительности этого занятия, положим, много способствовала дама слева, которая тоже долго смотрела и долго позволяла смотреть. Хорошенькая дама! Может быть, она ждет, что он ей предложит вот этот флакон. Ну, что же...

– Madame!

– Андрей Николаевич! C'est vous? – неожиданно перебивает голос справа. – Je ne vous ai pas reconnu!<sup>38</sup>

Его действительно трудно узнать. Он пополнел, он оделся, он... Но главное – у него совершенно другое выражение лица. В чем дело – уж не министр ли он?

– Ирина Петровна? Давно ли вы выбрались?

Она тоже пополнела и тоже оделась, но все-таки это не то.

---

<sup>34</sup> Это вы? (фр.)

<sup>35</sup> Но наоборот (фр.).

<sup>36</sup> Прекрасная Ирен (фр.).

<sup>37</sup> Ради капельки любви! (фр.)

<sup>38</sup> Это вы?.. Я вас не узнала! (фр.)

– Ах, дорогая, сколько хлопот! В конце концов, рассчитывать не на кого. Строить молодую Россию должны мы сами, вот этими руками.

Он потряс в воздухе обеими руками в рыжих перчатках, в одной из которых была зажата трость, а в другой конфетки для ароматного дыхания.

– Вы что же, где-нибудь служите?

– Я приглашен в общество для электрификации приваршавских водопадов. Работы масса, дело глубоко патриотическое. У нас две пишущие машинки, и вообще... Конечно, правительство должно оказать нам самую широкую помощь. Но разве у нас что-нибудь разумное делается! Нет, как хотите, – он понизил голос, – большевики во многом правы. И потом, *са не реут pas durer longtemps*<sup>39</sup>. Не сегодня-завтра о нас вспомнят и позовут. А здесь... вы понимаете... они пишут на нас доносы, а сами сердятся, что мы их тайно изобличили и, так сказать, дали знать. Посудите сами – на каком основании Пашка каждый день у Ларю? Я себе никогда этого не позволю. Это возмутительно! Когда ни придешь – он всегда там. Ему деньги даны на пропаганду, а он всегда с одной и той же дамой...

– А помните “Большую Европейскую”?

Он улыбнулся, но как будто ничего не вспомнил.

– Да... милое русское захолустье.

И снова сдвинул брови энергично и смело:

– Работать надо. Стройте молодую Россию. Кроме нас, некому. Это надо помнить... Красивый флакон, вот этот, с голубым... А?

---

<sup>39</sup> Это не может долго продолжаться (*фр.*).

## Квартирка

В отеле жить невысказимо.

Остаться в нем дня на три, на неделю, даже на месяц – очень хорошо. Но жить постоянной человеческой жизнью – неудобно, беспокойно и дорого.

Особенно в парижском отеле, где всю меблировку вашей комнаты составляют кровать, стол на четыре куверта, умывальник и пепельница.

И вот Танечка ищет квартиру.

В душе у нее давно живет идеал этой будущей квартиры: на каждого по спальне, гостиная, столовая, в центре города, на людной улице, но чтоб шума не было слышно.

Обстановка должна быть изящна, комнаты просторные, но уютные, с ванной, лифтом, освещением, отоплением и телефоном, и стоять должна она примерно... франков 40 в месяц. Конечно, хорошо было бы, если бы в эту же цену входила и прислуга – ну, да где уж там!

Таков Танечкин идеал. Но суровая действительность быстро опалила крылья мечты, и Танечка ищет франков за 1000, можно и без лифта, можно и без телефона, можно и без ванны, с одним шумом с улицы.

По вечерам, когда возвращается со службы Танечкин муж и ест сыр жерве, восхваляя его мягкость и высчитывая научно, сколько граммов мяса, яиц, овощей и солей заменяет собой этот кусочек, Танечка рассказывает ему, какие квартиры видела и какие упустила.

Упущенные всегда бывают дивно хороши и как-то даже подозрительно дешевы. Свободные дорожки, тесны и далеки – чуть ли не под Костромой. Но достаточно решиться на одну из них, как моментально она оказывается взятой и очень хорошей.

– Не умеешь ты искать, – укорял Танечку муж. – Искать надо на Rive gauche. Там центр и интеллигенция, и поэтому квартиры дешевле.<sup>40</sup>

Танечка вздыхает.

– Была одна на Rive gauche, только консьержка не позволяет ни детей, ни кошек, ни собак, ни рыб, ни птиц. И знакомых, говорит, тоже нельзя.

– Ну уж это дудки. Уж что-нибудь одно надо было отстоять – либо знакомых, либо кошку. Этак совсем одичаешь.

– Около Этуали была одна квартира. Но ее давно сдали, еще до войны. Хорошая, с ванной.

– Эх ты, ворона!

– Еще, говорят, хорошая квартира есть где-то на avenue Kléber. Только ее не сдают.

– Отчего не сдают?

– Не знаю, сами живут.

– Этак мы никогда ничего не найдем.

– Что же я могу сделать! Я стараюсь. Вот вчера мне дали адрес в конторе: на rue de Rome, пять комнат, с ванной, второй этаж, тысяча франков. А потом оказалось, что она не на rue de Rome, а в Passy, три комнаты, пятый этаж, восемьсот франков.

– Гм... Да ты, верно, не ту квартиру посмотрела?

– Может быть. Все это очень трудно.

– Нужно на Rive gauche. Кроме всего прочего, там сконцентрированы все кладбища.

– Да на что нам?

– Нет, не говори, все-таки это большое удобство. Представь себе, умрет кто-нибудь из нас здесь, около Орега, ведь отсюда до кладбища тащиться полтора часа, и неизвестно еще, какая

---

<sup>40</sup> На Левом берегу (*фр.*).

при этом будет погода. Имей в виду, что чаще всего простуживаются именно на похоронах. Между прочим, пальто у меня скверное...

– Отчего мы такие несчастные! Устраиваются же люди.

– У Зябликовых квартира.

– Ну уж тоже! С умирающим. В верхнем этаже умирающий живет. Как у Зябликовых гости, так умирающий начинает кончаться и в потолок стучит, чтобы не мешали. Зябликовы всех гостей разгонят, а он к утру опять оживает.

– Ну, это пустяки, умрет же он когда-нибудь. Тут нужно только терпение.

– А вот у нас в Вятке квартиру с домовым сдавали. Чудесная, целый дом. И дешево. Домовой только вздыхал и никого не трогал. И то потом выяснилось, что это кучер.

– Почему же он вздыхал?

– От неизвестных причин. Вот бы сюда эту квартирку! Восемь комнат. Пять внизу и три наверху. Наверх можно было бы Зябликовых пустить.

– Ну уж, покорно благодарю! Сами будут всю ночь ногами топтать, а чуть ты шевельнешься – сейчас претензии.

– Ну, тогда можно было бы Зябликовым две крайние отдать, а мы жили бы наверху, а внизу только парадные комнаты были бы.

– Ну тоже, по лестницам бегать, благодарю покорно. Особенно вечером со свечкой – еще пожару наделаешь.

– Зачем же со свечкой, когда электричество?

– Это в Вятке-то электричество!

– Да ведь дом-то, чудак ты этакий, в Париже будет, а не в Вятке!

– Сама говоришь – в Вятке, а теперь вдруг в Париже. Сначала думай, а потом говори.

– Чем же я виновата, что ты ничего не понимаешь! Дом, конечно, в Вятке, но жили бы мы в нем в Париже.

– Ничего не понимаю! Или ты идиотка, или я с ума сошел.

– Ничего не идиотка. Я просто рассуждаю, что если бы он был здесь, то как бы мы жили. Очень просто.

– Во всяком случае я с Зябликовыми не желаю.

– Какой у тебя скверный характер! Ну что тебе Зябликовы – помешают? Дадим им две комнаты около лестницы – там как раз кучер вздыхает. И потом – не можем мы одни занимать целый особняк! Сколько одно отопление стоило бы.

– Надо завести центральное отопление, тогда, если сильный мороз, хозяин за все отдувается.

– Так ведь хозяин-то ты, чудак!

– Это безразлично. Зябликовых не желаю. Завтра пойдем в контору?

– К чему? Если ты желаешь один занимать особняк в восемь комнат и сам его отапливать, так на тебя все равно никто не угодит.

– Не реви, сделай милость, без того тошно.



– Танечка, ты не спишь?

– М-м-м-м...

– Мне что-то не спится. Все разные мысли...



- Танечка, ты не спишь?
- Гм?
- По-моему, можно было бы в вятском доме сдать Зябликовым весь низ. Он, наверное, сырой. И если бы поставить дом около Этуали, мне бы на службу было удобно. Гм?
- Гм...

## Лапушка

*А.И. Куприну*

– Ну вот, поели и шито-крыто, и концы в воду.

Лизавета Петровна вытерла тарелки и сунула их вместе со спиртовкой и остатками макарон в нижний ящик комода.

– Теперь пусть приходят комнату убирать. Ничего не увидят.

Ардальон Николаевич, как всегда – без воротничка и без галстука – улегся на свой пролежанный диван и взял вчерашнюю газету. Так пролежит до вечера. А там разогреют макароны, попьют чаю и – спать.

Прежде звонил Шнек. Плел о каких-то гарантиях, о какой-то мельнице под Парижем и “здоровых возможностях”. Больше не звонит. Очевидно, все здоровые возможности сами по себе, без всяких болезней, сдохли.

У дивана поставлен вертикально, чтобы заменить столик, старый кожаный чемодан. Из настоящей кожи, чудесный. А на нем пестрые наклейки. Одна с гондолой и надписью “Venezia”, другая “Caire” с верблюдом и потом просто без картинки “Madrid Grand-Hôtel”.

Чудесный чемодан. Вся летопись счастливых дней. А в чемодане под драными рубашками красная коробочка с орденами. Он иногда вынимает эту коробочку и рассматривает ордена. Только не последнее время. Последнее время ничего не хочется.

Лизавета Петровна вытирает стол и садится за работу. Она вышивает бисером рукава. Это заказ из “увруара”, на который она работает. 75 франков за пару рукавов, если не опоздаешь к сроку. Опоздаешь – вычет. Хорошо, если бисер матовый, а блестящий слепит и вечером тона легко спутать.

– Лапушка, милая, матери помощница, розовых бус прикупить надо. Не сходишь ли к Лафайету?

Лапушка живет в закуточке, где, собственно, назначалось быть cabinet de toilette.<sup>41</sup>

Лапушке шестнадцать лет. Она приехала в Париж четыре года тому назад еще с куклой. Она рослая и полная. Похожа на отца. Лизавета Петровна востренькая.

Лицо у Лапушки белое, пухлое. Брови у переносицы ерошатся хохолками вверх, и поэтому взгляд ее похож, как смотрят собаки с подпалинами над глазами – зло и несчастно.

Лизавета Петровна вначале все собиралась устроить как-нибудь дочку, чтобы она получила систематическое образование. Да все говорили, что не стоит, потому что через полгода можно будет домой ехать. Так все и осталось.

О квартире до сих пор говорят, что дешевле и удобнее. Но искать ее не знают как, да если б и нашлась, то в отеле уже завелись долги. Не уплатив, не съедешь.

– Сходишь, Лапушка, к Лафайету-то?

Лапушка молча надевает вязаный колпачок, пальто, “лохундру” – кто-то случайно так назвал, так и осталось. Очень слово подошло.

Мать выходит за ней на площадку и потом кричит сверху:

– Апре ле дежене ревьен а ла мезон.<sup>42</sup>

Это для того, чтобы внизу, в бюро, думали, что они куда-то ходят завтракать, а не готовят у себя, в комнате.

Лапушка быстро, отвернув лицо, проходит мимо бюро. Там сидит кассирша с наглыми белыми глазами, которые все нащупывают.

---

<sup>41</sup> Туалетная комната (*фр.*).

<sup>42</sup> После завтрака возвращаясь домой (*искаж. фр.*).



На кассирше шелковое платье, фальшивый жемчуг на шее и размазанная прическа вся в шпильках и гребешках.

Завернув за угол, Лапушка останавливается около парфюмерного магазина. Там в окне большое зеркало.

Лапушка достает из кармана мешочек с пудрой и губную помаду и разделяет лицо. Дома она этого не смеет и на обратном пути у того же зеркала сотрет пудру и краску.

Запахнув свою “лохундру”, она плотно притягивает ею бока и идет дальше уже новой, не домашней походкой, а раскачивая бедра по-парижски.

Лапушка любит улицу. На улице она богатая. Она идет так же, как все, рядом с нарядными дамами и видит и слышит все то же, что и они. Она заходит в шляпные магазины, примеряет шляпы и обещает зайти снова.

По-французски говорит она очень скверно. Ни она, ни родители за четыре года не выучились. Что знали дома, в России, то и осталось. Да ведь и говорили-то только между собой, да и то мало, да и то по-русски.

Тараторила одна Лизавета Петровна. Сбегает утром за молоком и принесет целый короб рассказов: какую славную собачку встретила, какая кофта на “кремьерше”, как в мясной все цены перемечены и хозяйки бранятся и как автомобиль чуть было не раздавил господина. Об этом “чуть было” и то набиралось разговору без конца, а что было бы, если бы действительно раздавил!

Ардальон Николаевич слушал молча. Думал свое. Ему каждое первое число надо было ходить к бывшему сослуживцу Раньянцу за субсидией. Это было очень тяжело. Верно, об этом он все и думал.



Лапушке на улице хорошо. Гораздо лучше, чем дома. Дома она мнет в руках с утра до вечера старую фетровую шляпу и насаживает на нее стираную бурую ленточку. То так, то эдак. Штопать чулки, зашивать дырявые локти она не любит и не умеет. Она ничего не умеет и уметь не хочет.

Ее никто не заставляет. Ее точно бояться и немножко лебезят перед ней. Это от бедности и оттого, что не успели дать ей образование. И потом она все молчит, и они не знают, что у нее на уме, что она за человек.

Вертит, мнет, разглаживает старую шляпу и молчит.

У Раньянцев дочь однолетка. Танцует. Позвали Лапушку. Но надеть было нечего. Повертела свою шляпу и бурую ленточку и осталась дома. Спать легла без ужина и не попрощавшись. Лизавета Петровна притихла и в тот вечер говорила испуганным шепотом.

В магазинах Лапушка ходит из одного отдела в другой, перебирает мягкий, ласковый шелк, примеряет шляпы, блузки, атласные туфли.

Продавщицы с серьезно-любезными улыбками спрашивают, какого оттенка ее вечернее платье, чтобы показать подходящие к нему цветы.

Лапушка смотрит на цветы и думает о том, что родители ее настоящей правды не понимают, что сидят они, как нищие на паперти, ждут, когда церковь откроют – своей России ждут.

А тут вот в цветах, в шелках, в лентах – правда настоящая. Продавщицы знают это. Да и все знают, весь мир знает, кроме русских. Иначе как бы могли работать огромные фабрики, выделявая вот все эти кружева и бархаты и ленты, если бы это было стыдно? В одной старой газете было написано, что целые негритянские деревни живут тем, что выдергивают вот эти мохростые птичьи хвосты, которые сейчас в моде для дамских шляп. Уж негры-то без толку не стали бы. Значит, это все и важно и нужно.

Продавщицы и приказчики все это понимают. Они так серьезно говорят о том, что вечером нужно надевать платье без рукавов и что необходимо мазать лицо кремом.

Кажется, только одни русские этого не понимают. Они ездят шоферами, служат на заводах, грузят какое-то железо и шьют для увруаров. Работают, а другие украшаются.

Лапушка бродит по магазину. Лицо у нее розовеет и ноздри раздуваются. В каждом отделе свой запах. Можно закрыть глаза и узнать его.

Вот острый, вроде уксуса, чуть затхлый, мучнистый – это ситца и батиста.

Потом душный, пакляной, вроде свежей рогожки, но очень, очень тонкий – это пахнут кружева.

Мягко, печально-тревожно, как пустой флакон от забытых духов, может быть, резеды, но очень неясной, – пахнут шелковые материи.

Их так радостно трогать. Они красивы, даже когда не смотришь на них, красивы в прикосновении, в шелесте и вот в этом запахе. Можно закрыть глаза, завернуться в этот ласковый, розовый, как сон, фуляр и чувствовать счастье.

В отделе полотна пахнет холодным арбузом, бодро, прочно, просто. Полотно приятно погладить, как верное, преданное существо, которое честно и надолго. И приказчики у полотна деловитые: не любят, не играют складками, а приглашают внимательно взглядеться в нитку и ткань.

Около лент Лапушка стоит часами. Ленты узкие, змеино-скользкие, пахнущие душной пудрой, сухо и страстно. Есть одна в остатках – оранжевая, затканная золотом, вся точно кусочек солнца и не мнется мягко, а гнется упруго и богато. Маленький отрезок этой ленты, меньше метра, стоит 25 франков.

Она видела эту ленту уже три раза здесь, на прилавке, и два раза во сне.

И вот снова она берет ее в руки. Тут рядом зеркало. Лапушка прикладывает ленту повязкой на лоб и смотрит. Лицо у нее восторженно вдохновенное. Глаза сияют, щеки горят. Это необычное лицо пугает и волнует ее. Оно ей нравится, и ей кажется, что это чудо сделала лента. Она кладет ленту на место, потом снова примеряет и любит. Рассматривает этикетку. Нет. Цена не сделалась меньше. Те же немислимые 25 франков.

И вдруг сердце у нее буйно заколотилось. Она даже задохнулась и тут же, не давая себе опомниться, запихнула ленту в карман. Хотела отойти, но вдруг широко раскрыла глаза, словно сама на себя удивилась, и, вынув ленту, положила ее на место. Сердцебиение прошло, стало легко, но очень пусто и скучно.

В шляпном отделе две француженки примеряли розовые формочки, ахали и говорили: – *Vraiment il n'y a que ça dans la vie!*<sup>43</sup>

Лапушка остановилась, посмотрела растерянно своими глазами, как у собаки с подпалинами, злыми и несчастными, и, быстро повернувшись, снова подошла к лентам.



Лизавета Петровна два раза подогривала рисовую кашу, а Лапушка все не возвращалась. Потом совершилось нечто совсем необычайное – ее позвали к телефону.

Вернулась она страшно растерянная, остановилась на пороге и руками развела.

– Верно, под автомобиль попала. Господи, Господи!

Оказалось, спросил ее по телефону какой-то француз, есть ли у нее дочь и как ее зовут. А потом ничего не объяснил, поблагодарил и повесил трубку.

---

<sup>43</sup> На самом деле ничего, кроме этого, в жизни нет! (*фр.*)

Что-то значит случилось. Какая-то беда.

Подумали сначала идти в полицию, потом решили ждать.

В восьмом часу Лапушка пришла. Сказала, что совсем не знает, кто спрашивал. Голос у нее был хриплый, и лица не показывала, смотрела вбок. Прошла в свою закуску и заперлась. Лизавета Петровна постучала. Она долго не отзывалась и вдруг закричала с визгом, не своим голосом:

– Ах, да отвяжитесь вы все от меня!

Утром, однако, вышла в обычное время, села к столу. Лицо было злое и похудевшее.

Лизавета Петровна, закрыв дверь на задвижку, чтобы прислуга не видела, гладила белье электрическим утюгом.

Лапушка долго молча и злобно смотрела, шевелила своими бровями-подпалинами. Губы у нее скривились и побелели.

– А вы все по-прежнему электричество воруете?

Мать испуганно посмотрела на нее.

Говорила Лапушка громко, но беззвучно, точно она в подушку кричала, как кричат во сне.

– Все воруете? Все крадете?

Зубы оскалила, не то засмеется, не то укусит.

– И напрасно вы спиртовку прячете. Все равно все видят... все насмеются... все всё знают. Никого не обманете!

– Лапушка! Христос с тобой!..

– Лапушка! Да что ты?.. Сама не знаешь, что говоришь!

Но Лапушка вся дрожала, и бледные губы прыгали. А в злобных глазах ее огоньком разгорелась иступленная радость, и видно было, что уж замолчать она не может.

– Вы... вы... нищие... попрошайничаете да воруете! Россию свою ждете? Очень вы нужны России-то, две тетерьки старые! Не-нави-жу! Пусть на вас протокол напишут, пусть вы тоже приказчикам руки поцелуете... Вы! Вы! Вы во всем виноваты! Вы! Не-на-ви-жу!

Хлопнула дверь и ушла в коридор.



– Только не надо у нее ничего спрашивать. Понимаешь? Все это, конечно, пустяки. Я даже ни одного слова не понял... да... не понял – такие это все пустяки. Только не надо спрашивать...

Он смотрел на Лизавету Петровну умоляющими глазами, и щеки у него дрябло отвисли и дрожали.

А та перебирала на груди синими пальцами рваные бахромки платка, и все лицо у нее плакало, а слезы не текли.

Он встал и поспешно пристегнул воротничок.

– Нет. Довольно. Теперь будет все иначе. Довольно!

Он пошел к телефону и вызвал Шнека.

Телефонистки долго путали, но он добивался своего, а когда добился, узнал, что Шнек еще месяц тому назад уехал в Берлин.

Ардальон Николаич долго стоял около телефона. Все казалось, можно еще куда-то позвонить и добиться.

Потом медленно пошел к себе на свой диван и так, не снимая воротничка, в полном параде лег и повернулся лицом к стене.

Лизавета Петровна молча работала. Подбирала мотки и клубки, все чего-то валившиеся со стола.

Она ни о чем не спрашивала.

## День

Гарсон долго вертелся в комнате. Даже пыль вытер – чего вообще никогда не делал.

Очень уж его занимал вид старого жильца.

Жилец на службу не пошел, хотя встал по-заведенному в семь часов. Но вместо того чтобы, кое-как одевшись, ковылять, прихрамывая, в метро, он тщательно вымылся, выбрился, причесал остатки волос и – главное чудо – нарядился в невиданное платье – твердый узкий мундир с золотым шитьем, с красными кантами и широкими красными полосами вдоль ног.

Нарядившись, жилец достал из сундучка коробочку и стал выбирать из нее ленточки и ордена. Все эти штуки он нацепил себе на грудь с двух сторон, старательно, внимательно, перецеплял и поправлял долго. Потом, сдвинув брови и подняв голову, похожий на старую сердитую птицу, осматривал себя в зеркало.

Поймав на себе весело-недоумевающий взгляд гарсона, жилец смутился, отвернулся и попросил, чтобы ему сейчас же принесли почту.

Никакой почты на его имя не оказалось.

Жилец растерялся, переспросил. Он, по-видимому, никак этого не ожидал.

– Мосье ведь никогда и не получал писем.

– Да... но...

Когда гарсон ушел, жилец тщательно прибрал на своем столике рваные книжки – Краснова “За чертополохом” и еще две с ободранными обложками, разгладил листок календаря и написал на нем сверху над числом: “День ангела”.

– Н-да. Кто-нибудь зайдет.

Потом сел на свое единственное кресло, прямо, парадно, гордо. Просидел так с полчаса. Привычная постоянная усталость опустила его голову, закрыла глаза, и поползли перед ним ящики, ящики без конца, вниз и вверх. В тех ящиках, что ползут вниз длинной вереницей, скрепленной цепями, лежат пакеты с товаром. Пакеты надо вынуть и бросить в разные корзины. Одни в ту, где написано “Paris”, другие туда, где “Province”. Надо спешить, успеть, чтобы перехватить следующий ящик, не то он повернется на своих цепях и уедет с товаром наверх. Машина...<sup>4445</sup>

Ползут ящики с утра до вечера, а потом ночью, во сне, в полусне – всегда. Ползут по старым письмам, которые он перечитывает, по “Чертополоху”, по стенным рекламам метро...

Жилец забеспокоился, зашевелил усами, задвигал бровями – открыл глаза.

Заботливо оглядел комнату. Заметил, что наволочка на подушке грязновата, вывернул ее на другую сторону, посмотрел в окошко на глухую стену, прямо на трубу с флюгером, там, наверху, подумал, надел пальто, поднял воротник, чтоб спрятать шитье мундира, и спустился вниз.

Через окошечко бюро выглянула маслено-расчесанная голова кассирши и уставилась белыми глазами на красные лампасы, видневшиеся из-под пальто.

Жилец, обыкновенно втянув голову в плечи, старался поскорее пройти мимо, но на этот раз он подошел и долго и сбивчиво стал толковать, что он сейчас вернется и если в его отсутствие кто-нибудь зайдет – один господин или двое, или даже господин с дамой, – наверно кто-нибудь зайдет, – то пусть они подождут.

Кассирша отвечала, что все поняла и повторила отчетливо и очень громко, как говорят с глуховатыми либо с глуповатыми.

Жилец скоро вернулся с пакетиком.

---

<sup>44</sup> Париж (фр.).

<sup>45</sup> Область (фр.).

– Никого не было?

– Никого.

Постоял, пожевал губами, словно не верил.

Поднявшись к себе, развернул из пакетика хлебец и кусочек сыру и торопливо съел, поглядывая на дверь, и долго потом счищал крошки с мундира.

Потом опять сел в свое кресло, и опять поплыли ящики. Может быть, все-таки придет полковник. Если нашел службу и занят, так зайдет вечером. Пойдем в кафе, посидим, потолкуем. Наверное, придет.

Ящики приостановились и поплыли снова.

Потом заговорили французские голоса, громкие и сердитые, о каком-то пакете, попавшем не в ту корзину, заныли простреленное плечо и контуженное колено. Ящики остановились, и сон упал глубже – в накуренную большую комнату с огромным золоченым зеркалом. У людей, сидевших в ней, были внимательные и вежливые лица, блестели через табачный дым нашивки, галуны и пуговицы. Кто-то говорил ему:

– А вы, ваше превосходительство, верите в благоприятный исход?

Он не понимал, забыл. Какой такой исход! Какие бывают исходы.

– У меня болит нога, – отвечает он. – Я ранен под Сольдау.

Но тот, который спросил, недоволен ответом.

– Я отказываюсь вас понимать, ваше превосходительство. Никакого Сольдау не было.

Он хочет возражать, но тут же соображает, что с его стороны бестактно было говорить о войне, которую тот не знает. Тот ведь убит в японскую войну.

– У меня болит нога.

Он не знает, что сказать, и чувствует, что все смолкли, смотрят на него и ждут.

И вдруг шорох. Поплыли ящики. Сон стал мельче, тоньше, боль в плече и колене определеннее.

– Они как будто против меня. Они не могут ничего этого понять и только каждый раз сердятся. Я же не виноват, что был убит не в японскую кампанию, а позже. Впрочем, когда же я был убит? Нет, здесь ошибка. Я не был убит.

За дверью шорохнуло.

Он вскочил и, спеша и хромя, бросился к двери:

– Entrez! Entrez!<sup>46</sup>

За дверью по темной стене отчетливо плыли ящики, а внизу что-то неясно шевелилось.

– Кошка.

Кошка смотрела человеческими глазами, испуганно и кротко.

Он хотел нагнуться, погладить, но стало больно.

– А у меня все колено болит, – сказал он и тут же вспомнил, что здесь Франция, и испугался, что забыл об этом, и повторил тихонько:

– J'ai mal au genou.<sup>47</sup>

Кошка шмыгнула в тьму, пропала.

Он зажег лампу.

– Семь часов.

И есть не хотелось.

– Нет. Никто не придет. Да и давно не видались. Пожалуй, несколько месяцев. Может, за это время успели большевиками сделаться. И очень просто.

Он хотел фыркнуть и рассердиться, но не нашел в себе ни жеста, ни чувства. Устал, лег на кровать, как был, в орденах и мундире. Опять ящики.

---

<sup>46</sup> Войдите! Войдите! (*фр.*)

<sup>47</sup> У меня болит колено (*фр.*).

– Ну что ж, ящики – так ящики.

Пусть плывут. Ведь доплывут же до последнего?

## Цветик белый

Наши друзья Z живут за городом.

– Там воздух лучшее.

Это значит, что на плохой воздух денег не хватает.

Мы поехали к ним в гости небольшой компанией.

Выехали вполне благополучно. Конечно, если не считать мелочей: не захватили папирос, потеряли перчатки и забыли ключ от квартиры. Потом еще – на вокзале купили на один билет меньше, чем было нужно. Ну что же делать – обсчитались. Хотя и всего-то нас ехало четверо. Это было немножко неприятно, что обсчитались, потому что в Гамбурге была лошадь, которая очень бойко считала даже до шести...

Вылезли тоже благополучно на той станции, на какой следовало. Хотя по дороге и раньше иногда вылезали (т. е., честно говоря, на каждой станции), но, узнав об ошибке, сейчас же очень толково влезали обратно в вагон.

По прибытии на место назначения испытали несколько неприятных минут: неожиданно оказалось, что никто адреса Z не знал. Каждый понадеялся на другого.

Выручил нас тихий ласковый голосок:

– А вот и они!

Это была дочка Z, одиннадцатилеточка, ясная, беленькая, с белокурыми русскими косичками, какие и у меня были в одиннадцать лет (много было из-за них поплакано, много было за них подергано!..).

Девочка пришла встретить нас.

– Вот не думала я, что вы приедете! – сказала она мне.

– Почему же?

– Да мама все время твердила, что вы либо на поезд опоздаете, либо не в ту сторону поедете.

Я немножко обиделась. Я человек очень аккуратный. Еще недавно, когда М. пригласила меня на бал, я не только не опоздала, но даже явилась на целую неделю раньше...

– Ах, Наташа, Наташа! Вы еще не знаете меня!

Ясные глазки посмотрели на меня внимательно и опустились.

Обрадовавшись, что теперь попадем куда надо, мы решили сначала зайти отдохнуть в какое-нибудь кафе, потом пойти поискать папирос, потом попытаться протелефонировать в Париж, потом...

Но беленькая девочка сказала серьезно:

– Это никак нельзя. Сейчас нужно идти домой, где нас ждут.

И мы смущенно и покорно пошли гуськом за девочкой.

Дома застали хозяйку над плитой.

Она с удивлением смотрела в кастрюльку.

– Наташа, скорее скажи твое мнение, что у меня вышло – ростбиф или солонина?

Девочка посмотрела.

– Нет, чудо мое, на этот раз вышла тушеная говядина.

Z бурно обрадовалась.

– Вот и прекрасно! Кто бы подумал!

За обедом было шумно.

Все мы любили друг друга, всем было хорошо, и поэтому хотелось говорить. Говорили все зараз: кто-то говорил о “Современных записках”, кто-то о том, что за Ленина нельзя молиться. Грех. За Иуду церковь не молится. Кто-то говорил о парижанках и платьях, о Достоевском, о



букве “Ъ”, о положении писателей за границей, о духоворах, кто-то из нас хотел рассказать, как в Чехии делают яичницу, да так и не успел, хотя говорил не переставая, – все перебивали.

И среди этого хаоса беленькая девочка в передничке ходила вокруг стола, поднимала уроненную вилку, отставляла стакан подальше от края, заботилась, болела душой, мелькала белокурыми косичками.

Раз подошла к одной из нас и показала какой-то билетик.

– Вот, я хочу вас чему-то научить. Вы ведь дома хозяйничаете? Так вот, когда берете вино, спрашивайте такой билетик. Накопите сто билетиков, вам полдюжины полотенец дадут.

Толковала, объясняла, очень хотела помочь нам на свете жить.

– Как у нас здесь чудесно! – радовалась хозяйка. – После большевиков-то. Вы подумайте только – кран, а в кране вода! Печка, а в печке дрова!

– Чудо мое! – шептала девочка. – Ты ешь, а то у тебя все простынет.

Заговорились до сумерек. Беленькая девочка давно что-то повторяла каждому по очереди, наконец, кто-то обратил внимание.

– Вам надо с семичасовым уезжать, так скоро пора на вокзал.

Схватились, побежали.

На вокзале последний спешный разговор.

– Завтра покупать для Z платье, очень скромное, но эффектное, черное, но не чересчур, узкое, но чтобы казалось широким, и главное, чтобы не надоело.

– Возьмем Наташу, она будет советовать.

И опять о “Современных записках”, о Горьком, о французской литературе, о Риме...

А беленькая девочка ходит вокруг, говорит что-то, убеждает. Кто-то, наконец, прислушался:

– Перейти надо на ту сторону через мостик. А то поезд подойдет, вы заспешите, побежите и опоздаете.

На другой день в магазине два трехстворчатых зеркала отражают стройную фигуру Z. Маленькая продавщица с масляной головой и короткими ногами накидывает на нее одно платье за другим. На стуле, чинно сложив ручки, сидит белая девочка и советует.

– Ах, – мечется Z между зеркалами. – Вот это прелесть! Наташа, что же ты не советуешь? Смотри, какая красота, на животе серая вышивка. Говори скорее свое мнение.

– Нет, чудо мое, нельзя тебе это платье. Ну как ты каждый день с серым животом будешь? Если бы у тебя много платьев было – другое дело. А так непрактично.

– Ну, какая ты, право! – защищает Z. Но послушаться не смеет.

Мы идем к выходу.

– Ах, – вскрикивает Z. – Ах, какие воротнички! Это моя мечта! Наташа, тащи меня скорее мимо, чтобы я не увлеклась.

Белая девочка озабоченно берет мать за руку.

– А ты отвернись, а ты смотри в другую сторону, чудо мое, вон туда, где иголки и нитки.

– Вы знаете, – шепчет мне Z, указывая глазами на дочку, – она вчера слышала наш разговор о Ленине и говорит мне вечером: “А я за него каждый день молюсь. На нем, говорит, крови много, его душе сейчас очень трудно. Я, говорит, не могу – я молюсь”.

## О славе

*Что слава? Яркая заплатка  
На бедном рубище певца.*

Очень много говорили о смерти Макса Линдера.

Причин самоубийства выставлялось целых три. Первая – он ревновал жену. Вторая – жена ревновала его. И наконец третья – тоска о закате славы своей.

Вот в эту последнюю причину я и не верю и скажу почему.

Мечтать о славе, не имея ее, еще можно, но, познав ее, об утрате, вероятно, никто не жалел.

– Ах, счастливцев, – пищали барышни. – Все вас знают, все о вас говорят.

– Нда-м, миленькие. Говорят. А вот вы лучше послушайте, что говорят.

Приходилось мне видеть людей в зените славы их, и видела я, как слава, венчая их голову, не тихо и ласково обвивала ее лаврами, а колотила этим самым венком по темени.

Леонид Андреев велел у себя дома, чтобы газеты от него прятали.

– Не могу! В каждом номере какая-нибудь про меня гадость. Прочту – потом весь день болен и работать не могу.

Когда умер Чехов, которого все так любили, одна почтенная литературная дама, вздохнув, сказала:

– И отчего все наши писатели так рано спиваются.

Незабвенная надгробная речь! Жаль, что Чехов не мог ее слышать, – ему бы она понравилась.

В древние времена дело прославления было поставлено не кустарно и случайно, как в наше время, а систематично и обстоятельно.

Герой за подвиги награждался двумя герольдами, которые всюду сопровождали его, дули в свои трубы и возглашали о его достоинствах.

Какой ужас! Даже на самый древний вкус вряд ли это было удобно. На улице еще туда-сюда, а как позовешь такого в маленькую квартиру, с его треском, блеском и двумя верзилами за спиной.

Я часто слышала, что это только у русских не любят и не ценят своих великих людей. Но вот вижу теперь, что делается у французов. Действительно, каждая улица носит славное имя и на каждом углу по памятнику.

– Кто это? – спросите у прохожего.

– Je ne sais pas. Je ne suis pas du quartier.<sup>48</sup>

Другой пожмет плечами:

– Peut-être un pharmacien... enfin on ne sait pas.<sup>49</sup>

Вот и все – un pharmacien, а человек был действительно великим, человек был Бальзак.

А к своим современникам, которыми гордятся и которых любят, – как они относятся? Каждый вечер во всех boîte'ах шансонье измывается над любимцами Парижа. Каждый вечер неустанно поют о том, что Сесиль Сорель шестьдесят лет, что у Мистенгет вставные зубы, что Майоль и Ростан развратники.<sup>50</sup>

Все это называется – слава.

Знаменитый певец входит в зал ресторана.

---

<sup>48</sup> Не знаю. Я не из этого квартала (*фр.*).

<sup>49</sup> Возможно, фармацевт... Ну, мы не знаем (*фр.*).

<sup>50</sup> Здесь: клубы (*фр.*).

Все лица поворачиваются к нему – он это видит. Все шепчут его имя, – он его понимает, все улыбаются – он это видит и понимает.

Как приятно!

Но он не слышит...

– Марья Петровна, кто этот пришел с красной рожей?

– Знаменитый певец Петров.

– Петро-ов! А я думала, он помер.

– Да что вы, ему всего-то лет сорок.

– Уже и сорок. Я еще совсем девчонкой была, только что замуж вышла (понимай двадцати пяти лет), а он уж пел.

– Вы о чем? – спрашивают с соседнего столика.

– Да вот Анна Ивановна говорит, что совсем маленькой девочкой его слышала.

– Ну, если Анна Ивановна маленькой девочкой его помнит, так ему, хи-хи, добрые шестьдесят.

– Подумайте только! – ахают кругом. – Так сохранился. На вид не больше сорока. Чудеса! И поет еще недурно!

– Это спирт ему голос сохраняет, – острит сосед.

– А разве он пьет?

– Не пьет только курица.

– Господи, такой пьяница и так сохранился.

На другой день Софья Павловна (с третьего столика) рассказывает знакомым о впечатлениях вечера.

– Был Петров.

– Пел?

– Ну где ему! Говорят, по обыкновению пьет как сапожник.

– Не скандалил?

– При нас нет. Может быть, потом.

На другой день знакомые говорят:

– Что, на концерт Петрова? Охота вам! Пьет, скандалит.

– Да неужели! Какая гадость! Вздуть бы его как следует. Только русское имя порочит.

Это – слава.

В ложу театра входит знаменитая актриса.

– Смотрите, наша Магина.

– А с кем она живет?

(Этот вопрос всегда высказывает первым, когда заходит речь о знаменитой женщине. Прежде, чем – кто она, чем знаменита – поет, танцует, играет или стихи пишет.)

– Вы лучше спросите, с кем не живет.

(Таков всегда бывает ответ на этот первый вопрос.)

– Интересная?

– Была. В шестьдесят лет трудно быть интересной.

– Да разве ей...

– Анна Ивановна еще маленькой девочкой была, когда она уже выступала.

– А как же, говорят, у нее в прошлом году ребенок родился.

– Ну, знаете ли, они для рекламы на все способны.

– Вообще, дамочка с прошлым. Из-за нее, говорят, какой-то купец застрелился.

– А? – спрашивают из другой ложи. – Купца застрелила? Они говорят, что эта Магина купца ограбила.

– Бездарность! Выезжала только на туалетах. Интриганка.

– Это про нее говорили, что очень пьет?

- Это у нее какую-то шубу украли?
  - Господи! Шубу, говорят, украла.
  - Ужас какой!
  - Я бы вам еще кое-что рассказала, да неудобно – *ma fille écoute*.<sup>51</sup>
- Это – слава.

И это даже не значит, что мы не любим наших знаменитых людей. Нет, мы любим их, мы гордимся, если наша горничная служила раньше у Собинова или если Анна Павлова жила рядом с нами на даче. А говорили мы о них скверно только потому, что очень тяжело перенести, что вот, мол, человек так хорошо поет. Неприятно. Легче, если при этом будет шулером, пьяницей или хоть вралем. Ближе, роднее станет.

Года три тому назад, по какому бы поводу ни собралось несколько французских писателей или журналистов, непременно разговор заходил об Анатоле Франсе. И как пламенно, с какой любовью ругали его все за бессердечность, за эгоизм и легендарную скупость. И как гордились, и как любили!

А разве не гордимся мы Л. Толстым, поскольку, конечно, русская душа гордиться способна. А что писали о нем? Одна известная писательница, побывав в Ясной Поляне, с каким-то яростным ликованием описывала, как Лев Николаевич “с старческим интересом” ел из разных мисочек приготовленные для него грибочки. Такой булавкой можно ткнуть, только ненавидя – острый взор у ненависти. А ведь, наверное, любила Толстого и уже, конечно, гордилась им. Иначе зачем было бы в Ясную Поляну ехать?

Вот вам и слава. Даже не “яркая заплатка на бедном рубище”, а напротив того – дыра на приличном платье.

- Кто познал ее – за ней не потянется.
- И не тоска по ней убила веселого Макса Линдера.
- Он милый был. Не надо на него клеветать.

---

<sup>51</sup> Моя дочь слышит (*фр.*).

## Сладкие воспоминания

### Рассказ нянюшки

Не наше здесь Рождество. Басурманское. На наше даже и не похоже.

У нас-то, бывало, морозище загнет – дышать трудно; того гляди – нос отвалится. Снегу наметет – свету Божьего не видно. С трех часов темно. Господа ругаются, зачем керосину много жжем – а не в жмурки же играть. Эх, хорошо было!

Здесь вон барышни в чулочках бегают, хихикают. Нет, ты вот пойдешь там похихикай, как снегу выше пояса, да ворона на лету мерзнет. Вот где похихикай.

Смотрю я на здешних детей, так ажно жалко! Не понимают они нашей русской елочки. Хороша была! Особенно ежели в деревне.

Помню, жила я у помещиков, у Еремеевых. Барин там особенный был. Образованный, сердитый. И любил, чтобы непременно самому к елке картонажи клеить. Бывало, еще месяца за полтора с барыней ссориться начинает. Та говорит: выпишем из Москвы – и хлопот никаких. И – и ни за что! И слушать не хочет. Накупит золотых бумажек, проволоки, все барынины картонки раздерет, запрется в кабинете и давай клей варить. Вонюшка от этого клея самая гнилая. У барыни мигрень, у сестрицы евоной под сердце подкатывает. Кота и того мутило. А он знай варит да варит. Да так без малого неделю. Злющий делается, что пес на цепи. Ни тебе вовремя не поест, ни спать не ляжет. Выскочит, облает кого ни попадись и – опять к себе клеить. С лица весь черный, бородачища в клею, руки в золоте. И главное, требовал, чтобы дети ничего не знали: хотел, чтобы сюрприз был. Ну, а дети, конечно, помнят, что на Рождество елка бывает, ну и, конечно, спрашивают. Скажешь “нет” – ревут. Скажешь “да” – барин выскочит, и тогда уж прямо святых выноси.

А раз пошел барин в спальню из бороды фольгу выгребать, а я-то и недосмотрела, как дети – шмыг в кабинет, да все и увидели. Слышу визг, крики.

– Негодяи! – кричит. – Запорю всех на конюшне!

Хорошо, что евоная сестрица, в обморок падаючи, лампу разбила – так он на нее перекинулся.

Барыня его потом успокоила.

– Дети, говорит, может и не поняли, к чему это. Я им, говорит, так объясняю, что ты с ума сошел и бумажки стрижешь.

Ну, миновала беда.

А потом начали из школ старшие детки съезжаться. То-то радости! Первым делом, значит, смотреть, у кого какие отметки. Ну, конечно, какие же у мальчишек могут быть отметки? Известно – единицы да нули. Ну, конечно, барыня на три дня в мигренях; шум, крик, сам разбушует.

– Свиной пасти будете! К сапожнику отдам...

Известно, отцовское сердце, детей своих жалеет – кого за волосы, кому подзатыльник.

А старшая барышня с курсов приехала и – что такое? Смотрим, брови намазаны. Ну – и показал он ей эти брови!

– Ты, говорит, сегодня брови намазала, а завтра пойдешь, да и дом подожжешь.

Барышня в истерике, все ревут, у барина у самого в носу жила лопнула.

Ну, значит, повеселились, а там смотришь – и Рождество подошло.

Послали кучера елочку срубить.

Ну кучер, конечно, напился, да вместо елки и привороты осину. Спрятал в амбар, никто и не видел.

Только скотница говорит в людской:

– Странную, мол, елку господа в этом году задумали.

– А что? – спрашивают.

– А, – говорит, – осину.

И такое тут пошло! Барин-то не разобрал толком, кто да что, взял да садовника и выгнал. А садовник пошел кучера бить. Тот, хоть и дюже пьян был, однако сустав ему вывернул. А повар, Иван Егорыч был, смотрел, смотрел да взял да заливное, все как есть, в помойное ведро вывалил. Все равно, говорит, последние времена наступили.

Н-да, весело у нас на Рождестве бывало.

А начнут гости съезжаться – тут-то веселье! Пригласят шесть человек, а наплет – одиннадцать. Оно, конечно, не беда, на всех хватит, только барин у нас любил, чтобы все в аккурате было. Он, бывало, каждому подарочек склеит, какой-нибудь такой обидный. Если, скажем, человек пьющий, так ему рюмочку, а на ней надпись: “Пятнадцатая”. Ну, тому и совестно.

Детям – либо розгу, либо какую другую неприятность. Ревут, конечно, ну да нельзя же без этого.

Барыне банку горчицы золотом обклеил и надписал: “От преждевременных морщин”. А сестрице своей лист мушиного клею “для ловли женихов”.

Ну, сестрица, конечно, в обморок, барыня в мигрень.

Ну, в общем-то, ничего, весело. Гостям тоже всякие штучки. Ну, те, конечно, виду не показывают. У иного всю рожу на сторону сведет, а он ничего, ногой шаркает, веселится.

Ну, и нам, прислугам, тоже подарки раздавали. Иной раз и ничего себе, хорошие, а все-таки осудить приятно. Как, бывало, свободная минутка выберется, так и бежим в людскую либо в девичью – господ ругать. Все больше материю на платье дарили. Ну, так вот, материю и разбираем. И жиденькая, мол, и цвет не цвет, и узкая, и мало, и так, бывало, себя расстроим, что аж в ушах зазвенит.

– Скареды!

– Сквалыги!

– Работай на них, как собака, ни дня, ни ночи. Благодарности не дождешься.

Очень любили мы господ поругать.

А они, как гости разъедутся, тоже вокруг стола сядут и гостей ругают. И не так сели, и не так ели, и не так глядели. Весело! Иной раз так разговаряются, что и спать не идут.

Ну, я, как все время в комнатах, тоже какое словечко верну. Иногда и привру маленько для приятности.

А утром, в самое Рождество, в церкву ездили. Ну, кучер, конечно, пьян, а как садовника выгнали, так и запрячь некому. Либо пастуха зови, либо с садовником мирись. Потому что он, хотя и выгнан, а все равно на кухне сидел и ужинал, и утром поел, и все как следует, только что ругался все время. А до церкви все-таки семь верст, пешком не сбегаешь. Крик, шум, дети ревут. Барин с сердцов принялся елку ломать, да яблоко сверху сорвалось, по лбу его треснуло, рог набило, он и успокоился. Оттянуло, значит.

За весельем да забавой время скоро бежит. Две недельки, как один денек, а там опять старшеньких в школу везти. За каникулы-то разъедутся, разленятся, в школу им не хочется. Помню, Мишенька нарочно себе в глаза чернила напустил, чтобы разболеться. Крик, шум, растерялись. Не знают, что прежде – пороть его, аль за доктором гнать. Чуть ведь не окривел. А Федю с Васенькой в конюшне поймали – хотели лошадей порохом накормить, чтобы их разорвало и не на чем было бы в город ехать. Ведь вот какие!

Вот и кончилось Рождество, пройдут празднички и вспомнить приятно. Засядешь в сугробах-то, да и вспоминаешь, новых поджидаешь. Хорошо!

## Из фиолетовой тетради (I)

Вот и Новый год!

Положим, не наш, а стиль нуво.<sup>52</sup>

Но мы, русские, – народ сговорчивый. Мы и стиль нуво отпразднуем, и своего не забудем. Даже жалею, что мало Новых годов. Мы бы и наш, и ваш, и ихний, и евоный, и ейный. Мы покладистые. А к тому же, надо признаться, изрядно сбились с толку. А кто виноват? Виноваты наши культурные центры, т. е. русские рестораны. Под Пасху вдруг объявление: “Пасхальный ревелльон, блины всю ночь”.<sup>53</sup>

Чувствуешь, что что-то здесь неладно, но думаешь: ведь это наши единственные ревнители старины и хранители заветов. И по русской неуверенности даже в себе усумнишься: видно, забыл, спутал, им лучше знать.

На Масленицу плакаты: “Шашлыки и молодые поросята – традиционные русские блюда”.

Вспоминаешь, будто Масленица-то мясопуст, но опять-таки уверенности яркой нету. Напечатано – “традиционные”. Печать ведь имеет большую силу, влияет на умы. Шестая держава. Не очень-то поспоришь.

Эх, нет у русского обывателя не только самоуверенности, но и гордости. Смотрите – француз – да он всем гордится.

Недавно, смотрю, какой-то паршивый ресторанчик огромный плакат вывесил: “Единственный парижский ресторан, в котором во время ревелльона не будет музыки”.

Гордится. А на самом деле, что, подумаешь, за доблесть – поскупился оркестр нанять, только и всего.

А их “специальности”!

Какая-нибудь завалящая закусочная, торгующая горлодером и рагу из копыт, оповещает о себе: “Леон! Его вино! Его грильяды!!”

А застенчивому клиенту и в голову не придет, что поставленные здесь восклицания, может быть, суть знаки не восторга, а ужаса.

Гордятся, гордятся.

Недавно на дверях маленького ресторанчика прочла гордое заявление, способное поставить на место любого знатного конкурента: “Специальность – яйца всмятку”.

Скромная специальность? А вот ведь гордятся.



Сегодня, в Новый год, хочется вспомнить счастливое прошлое.

Вот так, лежишь утром в кровати, стук в дверь. Ну, конечно, вопишь не своим голосом: – Кто там? Сколько раз говорила, чтобы не смели меня будить...

Но тут же вспоминаешь, что сегодня Новый год и что этот стук означает что-нибудь приятное: цветы, конфеты, духи...

Наверное, ландыши...

– Войдите!

Просовывается в дверь утиный нос горничной:

– Полотеры поздравляют. Те самые, что вчера лампу в гостиной...

Успокоишься, задремлешь. Тук-тук. Опять нос. Словно кукушка в часах.

---

<sup>52</sup> По новому стилю (от *фр.* style nouveau).

<sup>53</sup> Встреча Нового года (от *фр.* réveillon).

– Почтальоны...



– Дворники, восемь человек...

А интересно, какое у наших беженских детей, не помнящих старой России, составилось представление о ней?

Часто, во-первых, какой-то сплошной борщ. Борщ с кашей, борщ с салом, борщ с ватрушками, борщ с ветчиной. По губерниям – где что.

Затем, в губерниях были города и пейзажи. В городах жили губернаторы. В пейзажах – пейзажи или мужики.

Губернаторы были очень милостивые и приветливо улыбались.

Мужики были талантливый русский народ. Они пели народные песни и ели народные блюда.

Кроме губернаторов и мужиков были еще разные полки, в которых были офицеры. Жены этих офицеров, в количестве 80 тысяч, хлынули во время революции в Европу и Америку.

Четвертое сословие составляли в России бесы Достоевского в двух томах. Хотя они и были всего в двух томах, но сумели разложить умы и развратить нравы.

Произошел взрыв. От взрыва вылетели губернаторы и, как ни странно, половина бесов Достоевского. Вылетели в Европу.

– Что, нечистая сила, помогли тебе твои козни?

Губернаторы вылетели лицом назад, поэтому пишут воспоминания.

Бесы Достоевского – лицом вперед, поэтому принялись за журналы и газеты.

На чужбине и те и другие забыли былые схватки, покупились, выпили на “ты” и вместе едят борщ всех губерний.

– Так это, значит, я вас тогда приказал арестовать?

– Да, да, бомбу мы тогда для вас приготавливали.

– Надо отметить в мемуарах. Ом, анкор де каша.<sup>54</sup>

Что все это значит? Если ты не преступник, так, значит, я гнусный палач.

Эх, все мы перед борщом равны.

Только в закрытых заседаниях, где читаются мемуары о прошлом и доклады о будущем, губернаторы и бесы без всякой жалости, жестоко и порой несправедливо (э, нам не до сантиментов!) уничтожают друг друга с корнем и навсегда.

А что даст нам новый год?

Прошлогоднее мое предсказание исполнилось. Напоминать о нем не буду, потому что это будет кое-кому неприятно.

А этот год? Есть в имени его нехорошая цифра. Семерка. Топор.

Рядом с ним цифра два, безвольная, нежная, лебединого начертания – не удержать ей топора. А через нее – девять, самая старая из всех, последняя. Ей через двойку не дотянуться, да и не захочет она вмешиваться...

Только бы пошел год быстрым темпом. Есть такие года. И не в личной жизни отдельных людей, а сам по себе. Чувствуется, как он спешит, мнет события, бежит, гонит, путает. В августе хватит мороз, в январе фиалки, скорей, скорей. Добежит и рухнет в бездну.

А тягучие, нудные, как они противны! Остановился такой год на какой-нибудь гадости – на зиме либо на осени – и тянет, тянет, морозит, поливает. И события в такой год такие же

---

<sup>54</sup> Человек, еще каши (искаж. фр.).



затяжные, нудные. Если кто в такой год заболит – так на три месяца. Женится – так на всю жизнь.

Будем его дружно подгонять, этого двадцать седьмого, чтобы не очень задумывался.

## **Святочные советы**

### **Приметы, гадания и толкования снов**

#### **1**

Сны под Новый год, как старого, так и нового стиля, имеют большое значение и влияние на судьбу увидавшего их, а также и окружающих его родных, друзей и знакомых. Сны под Крещение тоже не лишены вышеупомянутых качеств.

В наше время, когда порядочный человек под Новый год спать не ложится, а “Крещенский вечерок” продолжается у него до первого метро, сон под эти праздники увидеть ему, конечно, трудно. Но мистически настроенная личность всегда сумеет всхрапнуть под сурдинку на любом концерте и даже балу.

Есть люди, которым еще дороги традиции нашей седой старины.

Итак, если вам удастся смежить усталые вежды ваши, обратите внимание на сновидение, которое не замедлит осенить вашу душу.

Я не смогу дать вам здесь подробный толковник, но главнейшие сны отмечу.

Если приснится вам толченая дресва или гречишная лузга с толокном, то это к перемене начальства.

Если приснится, что кит свистит вам в ухо, – придется есть блины.

Перепела щипать – к продаже овсов.

Доите во сне кошку – танцевать с приятелями.

Воровать вожжи – к встрече с солидным лицом.

Если во сне мыть крысу – к продолжению старого романа.

Если, наоборот, что крыса тебя моет, – к свиданию с родственником.

Есть муравьев – к хорошей погоде.

Петь в голом виде – к грязи.

Склоняться во сне перед курицей – крупные выгоды.

Целовать с распаленной страстью своего начальника – неудачная покупка.

Таковы предусмотренные нами главнейшие предпраздничные сны.

Теперь перейдем к приметам.

#### **2**

Немалую роль играют и святочные приметы.

Так, если в ночь под Новый год выпьете, либо даже, прямо скажем, – напьетесь, то это будет означать, что в жизни вашей особых перемен не произойдет.

Если придется закусывать кренделями, то это означает предстоящее вам ухаживание за дамами.

Ежели под Новый год займет у вас кто-нибудь деньги, то это означает, что деньги эти он вам не отдаст.

Ежели вы у кого-нибудь займете под Новый год, то это будет означать, что человек этот будет весь год к вам приставать.

Ежели под Новый год встретите вы человека, который от шампанского воздерживается, то примета эта означает, что у него нет денег.

Если вы под Новый год сами налижетесь и, кроме того, всех кругом будете угощать и музыкантов напоите и всех к себе гостить пригласите, то означает эта примета, что быть вам без денег.

Ежели явитесь под Новый год в семейный дом и полезете с хозяйкой христосоваться, то значит это, что знакомства с вами поддерживать не будут.

Ежели, поужинав на общественном балу, попытаетесь уйти, не заплатив, то примета эта указывает на большой скандал.

Ежели под Новый год намажете девицу горчицей и заставите ее петь басом – получите перемену в семейном положении.

### 3

Изложив главнейшие приметы, перейдем к гаданиям.

Перечислим старые, традиционные, поскольку сохранились в памяти.

Запусти таракана кому-нибудь в ухо и слушай, что сей человек станет говорить. То и сбудется.

Поймай на улице четырех козлов, поставь головами в разные стороны. Когда побегут – следи, какой впереди всех – в той стороне твое счастье.

Выйди в полночь на гору покруче да поглуше (Монмартр) и слушай, в какой стороне волки воют – там твой враг живет.

Поставь на ночь под кровать лохань с водой и пусти в нее утку плавать. Что приснится, примечай – то и сбудется.

Обстриги шерсть с семи черных кошек, спряди ее как кудель, сотки из нее рубаху и иди на перекресток. Как увидишь встречного, сейчас на него рубаху эту надень и слушай. Ежели он веселую песню запоем – это к свадьбе. Если панихиду – это к беде. Если плясать начнет с прибаутками – это к большой удаче. Ежели начнет тебя колотить – к неприятности.

Таковы главнейшие гадания, пережиток седой старины, до сих пор с успехом выполняемые мистически настроенными личностями, желающими проникнуть в мир чудесного и приподнять бестрепетной рукой завесу будущего.

## Из фиолетовой тетради (II)

...Странно мы относимся к словам ближнего своего. И никому в голову не приходит, что, в сущности, так относиться нельзя, что пора, наконец, пересмотреть этот вопрос и в корне изменить.

Вот вы встречаете у входа в метро малознакомого вам человека. Человек этот приостанавливается и приветливо, но, конечно, с горячим любопытством спрашивает:

– Как ваше здоровье?

И что же получает он в ответ? Короткое, идиотское “мерси”. Причем тут мерси? Неужели трудно удовлетворить желание этого милого человека и рассказать ему то, что ему так хочется знать? Отвести его немножко в сторону и начать задушевно и просто:

– В детстве, мол, хворала я часто желудком, потом, очевидно, под влиянием здорового режима деревенской жизни, организм мой окреп. В тысяча девятьсот первом году перенесенный мною тиф оставил следующие осложнения: во-первых, что касается кишечника...

Если молодой человек вырвется от вас и вскочит в свое метро, вы не должны, воспользовавшись тем, что он торопится, считать свою задачу по отношению к нему выполненной. Вы должны разузнать его адрес и написать ему все подробно или же постараться созвониться с ним по телефону и изложить устно.

Что касается меня – я верю людям. Если у меня спрашивают: “Что вы поделяваете?” – я никогда не позволяю себе отделаться какой-нибудь оскорбительной ерундой, вроде: “Да ничего, помаленьку”.

Ну какое представление может человек получить о моем времяпрепровождении от “помаленьку”? Ведь форменный вздор. Если он хочет знать, как я поживаю, я ему это и сообщу. Подробно, толково – скрывать мне нечего.

...

– Сегодня утром зашивала дырку на чулке. Потом искала левую перчатку. Перчатки не нашла, но нашла шоколадину. Конечно, съела. Потом прачка принесла белье. Двух платков не хватало. Я ей говорю: “Пуркуа”? Потом разбила стакан...<sup>55</sup>

Уверяю вас, что любой человек сможет вполне удовлетворить самое голодное свое любопытство, если прослушает описание моего утра. Надо быть внимательным к потребностям ближнего своего. Раз спрашивает – верьте, что ему это нужно знать.

Я верю. Я вообще верю ближнему своему. Порою это очень тяжело, но я верю.

Получила на днях письмо: “Дорогой друг, мы в страшном отчаянии, что не можем быть у вас в пятницу, так как в четверг уезжаем на юг”.

Как меня это расстроило! Не то, что они не придут. Это-то пустяки, я-то без них обойдусь. А вот их жалко. Люди в полном отчаянии. И какой тут юг спасет, когда нет спокойствия и на душе тяжелый мрак. Синее небо, сверкающее море, ликование весенней природы, веселая нарядная толпа – все это только раздражает, на этом радостном фоне только выпуклее выступит тоска и душевное угнетение. Им бы легче было, если бы они уединились куда-нибудь в дикие скалы, где плачут чайки и глухо рокошет прибой. И нет около них преданного человека, который научил бы их, как избыть, как изжить горе, и удержал бы их от малодушного и рокового шага, когда на вершине скалы или у обрыва над бездной мелькнет у них мысль: “А что, если... одно движение и...”

Как все это тяжело! Милые, бедные... Как я за них боюсь!

А вот недавно – казалось бы, пустяк, а вместе с тем...

---

<sup>55</sup> Почему (от *фр. pourquoi*).

Поручили мне предложить одному банкиру билет на благотворительный вечер. Банкир спросил, сколько стоит, но я еще не успела ответить, как он воскликнул:

– Ого! как дорого!

Потом сказал:

– Я подумаю и потом вам сообщу мое решение по телефону.

– Да у меня нет телефона.

– Так я напишу.

– А вы знаете мой адрес?

– Ну, это уже пустяки. Я разыщу общих знакомых и от них и узнаю – очень просто.

Словом – я подумаю.

Какой милый! Сколько берет на себя.

И вот каждый вечер, как только останусь одна – рисуется мне картина: пышно убранный стол. Нарядные люди пируют. Гремит музыка. И среди них один не поддается общему веселью. Он бледен, рассеян. Видно, что неотвязная мысль не дает ему покоя. Это он – мой банкир.

– Еще телятины, – предлагает ему кокетливая хозяйка дома.

Он даже не слышит. Как далеки от него всякая телятина, всякий разгул и наслаждение жизнью. В ответ он молча сжимает виски и прикладывает салфетку ко лбу.

– Миша, – шепчет ему жена, – ты утираешься шарфом мадам Гуртовник, что с тобой?

– Молчи, я думаю... Я обещал подумать о билете, и я думаю...

А кругом декольте и шампанское.

И вот вижу я другой вечер.

Уютный домашний очаг. Банкир с семьей сидит у камина. Тут же в роскошном сервизе дымятся кофе, чай, шоколад и какао. Беспечно резвятся дети. Преданно улыбается жена. Но банкир угрюм. Машинально окунает он свой палец в чужую чашку и отряхивает пепел сигары в вазу с вареньем.

– Отошли детей, – говорит он жене. – Мы должны наконец решить.

Детей уводят.

– Я все понимаю, – говорит жена. – Как быть? Покупать билет или нет? Какую цену назначила эта дурища?

– Двадцать франков. Как быть? Думаю уже три недели. Время идет! Время бежит!

– Откажемся от поездки в Ниццу и купим билет.

– А твои бедные нервы, которые так хорошо отдохнули бы под южным солнцем? Уж лучше продать имение.

– А наша любовь, которая окрепла бы на почве собственных лугов? Может быть, можно уплатить ей векселями?

– Ты рассуждаешь как женщина, что ты понимаешь в банковских операциях?

– Миша, подожди, может быть, какая-нибудь неожиданность спасет нас. Может быть, она успеет за это время умереть. Скоропостижно. Я не желаю ей больших страданий – пусть скоропостижно.

– Увы! – вздыхает мой банкир, – у нее вид был очень крепкий. Она при мне съела четыре пирожка и еще говорила: “У меня сегодня что-то нет аппетита”. Нет, на это рассчитывать нельзя.

– Миша! Да ты, наконец, можешь отказаться от билета.

– Эта мысль уже приходила мне в голову, но... это же нельзя решить так сразу. Надо как следует обдумать, взвесить.

– Ты погубишь свое здоровье! – отчаянным воплем вырывается из груди жены давно терзавшая ее мысль.

Он горько усмехается.

– Жизнь, дорогая моя, не соткана из одних беззаботных радостей. Иди, малютка, смежи свои вежды, а я буду думать до утра. Иди и прикажи подбросить дров в камин – меня давно знобит...

Она думает. Я, подлое беспечное существо, погашу сейчас лампу и буду спать – а он... Я плачу – это правда, но что стоят мои скупые слезинки в сравнении с его страданиями!

И зачем я это сделала?

Я даже поделиться ни с кем не могу моими душевными терзаниями. Я окружена поверхностными, легкомысленными людьми. Они скажут:

– Ха-ха! Да он ответил, что подумает, просто, чтобы от вас отвязаться, а вы-то распустили сантименты.

Как я могу допустить такую грубую мысль? Поверить такому вздору? Такой клевете?

Я знаю, что он, мой банкир – думает. А я – я за него страдаю. Каждому свой крест.

В душе звенят слова романса: "...тебя обнять и плакать над тобой!".

Время! Время! Прибавь ходу! Беги скорей! Ибо тают силы!..

## Потустороннее

Были вчера вечером у Ложкиных. Договорились до таких страстей, что потом жутко было в метро лезть. И то правда, как подумаешь, – под землю в полночь! Это в Париже все как-то незаметно выходит, потому что по-французски, а если бы устроить метро где-нибудь в Тиму или Малоархангельске, так уж наверное в нем завелись бы покойники.

Мы, русские, вообще народ мистически настроенный, но в частности мадам Ложкина превзошла всякую меру. Сама позовет в гости, а придешь, она ноздри раздует, глаза закатит:

– У меня, – говорит, – было предчувствие, что вы ко мне сегодня придете.

Муж у нее человек грубоватый.

– Сама же, – говорит, – позвала, чего же тут чувствовать-то?

У женщин вообще, я считаю, натура тоньше. И действительно, в мадам Ложкиной этой самой мистики ужасно много. Вчера рассказывала удивительные случаи.

– У меня, – говорит, – необычайная сила внушения на расстоянии. Сколько раз проверяла. У мужа, знаете, преотвратительная память: что ни поручить – все забудет. А я очень люблю пряники, и всегда его прошу купить к чаю. И вот иногда перед чаем начинаю ему мысленно внушать: “Не забудь пряники, не забудь пряники”. И представьте себе, ведь иногда покупает.

Это, действительно, поразительно – такая сила!

Олечка Бакина, оказывается, тоже не без силы. Была она влюблена в одного актера и каждый вечер внушала ему: “Встань, выйди из дому и иди ко мне”. И он, говорит, действительно всегда вставал и шел. Прямо удивительно.

Шел он, положим, не к Олечке, а к Марье Михайловне, но все-таки половину внушения исполнял, то есть вставал и из дому выходил. Ну разве это не чудо?

Прямо завидно! Почему у меня никакой такой силы нет?

От разговора о внушении перешли к спиритизму и загробной жизни. Был в нашей компании как раз один специалист по спиритизму. Рассказывал массу интересного. У него у самого такая медиумическая сила, что стоит ему за стол сесть, как моментально дух тут как тут. Специалист, конечно, сначала спрашивает:

– Дух, если ты здесь, стукни один раз. Если тебя нет, стукни два раза.

И представьте, тот моментально все честно отстукивает.

– Ну, а спрашивали вы у них, у духов-то, о загробной жизни?

– Не успевал-с. Потому что они меня сразу начинали колотить твердыми предметами по темени. При этом как-то неудобно предлагать вопросы. Одно могу вывести, что, вероятно, у них там характеры очень портятся. Потому что такие злющие являются, что иногда прямо даже неудобно. Очень уж ругаются. И что удивительнее всего – всегда по-русски. Видно, там получают возможность владеть всеми языками. Явилась раз душа Офелии. Ну и душа! И откуда она такие выражения подцепила – видно, Гамлет научил. Н-да, грубоватые они все там делаются, быт, видно, такой простецкий.

– Вот бы узнать, как у них там!

А мадам Ложкина говорит:

– А вдруг у них там тоже гостиная, столовая, передняя, спальня и кабинет. И тоже в гости ходят, и изволь им печенье покупать.

Последнее замечание было, по-моему, нетактично, так как мы же у нее в гостях сидели.

А Олечка подхватила:

– А одеваются, может быть, моднее нашего.

– А чем же, – говорю, – эту грубость разговора объяснить?

Спирит выразил мнение, что это, вероятно, сказывается влияние среды. Что на том свете люди объединяются не по признаку хороших манер, а по своим духовным качествам. Может быть, душа какой-нибудь добродетельной девицы из высшего общества в течение многих веков находится в компании раскаявшихся разбойников с большой дороги. Может быть, души-то их и очень высоки в духовной оценке, а все-таки то, что называется на языке эстетов “финтифлю”, у них, конечно, отсутствует. И общаются они между собою по-простецки. Ну вот, девицына душа и впитывает в себя эти простецкие эманации, и если заглянет случайно на спиритический сеанс, то, конечно, и выявляется в словесной форме разбойничьего тона.

А мадам Ложкина нашла, что это было бы несправедливо, если бы так перемешивали людей различных кругов общества. Конечно, в смысле манер, если какой-нибудь праведник ел рыбу ножом, – это неважно, потому что на том свете ни рыбы, ни ножа нет, но сама душа у человека благовоспитанного должна очень шокироваться и страдать от близости праведника дурного тона.

А Олечка стала протестовать в том смысле, что это только в светской жизни важна бон-тонность, а, например, у нас при большевиках случалось, что и бывшие фрейлины водили компанию с бывшими прачками и прямо жили душа в душу.

Тут опять хозяйка ввязалась в разговор.

– Так ведь это, – говорит, – при большевиках, так сказать, в аду, а мы говорим про райское народонаселение и социальный строй блаженства. А какое же блаженство при наличности таких дефектов?

Потом разговор потек по своему руслу дальше, в дебри, и сам Ложкин высказал удивительнейшую мысль:

– Не замечали ли вы, – сказал он, – как часто то, что считалось предрассудком и заблуждением темного разума, неожиданно освещается наукой и признается ею за правильное и достоверное? Вот, например, лечили деревенские старухи рожу тем, что очерчивали воспаленное место мелом. Люди интеллигентные, конечно, издевались над бабьей ерундой, а затем бактериолог какой-то взял да и разъяснил, что бабы-то очень правильно дело-то разумели, что бациллы рожи не могут переходить через меловое препятствие, так как мел, по природе своей, им неблагоприятен. И многое, что казалось пустяком и над чем смеялись, оказалось правильным. Так вот иногда приходит мне в голову: а ну как земля-то вовсе не шар, а блин, и держится она на трех китах, а внизу ад, и черти на сковородках грешников жарят? Подумайте только, какой конфуз для образованного человека, который всю жизнь губы кривил по всем правилам скепсиса и анализа, и умер, “погружаясь в великое Ничто”, и вдруг – пожалуйста-с сковородку лизать, и самый настоящий черт зеленого цвета, изрыгая хулу и серный дух, будет ему подкладывать угольков под пятки. Вот уж это действительно был бы настоящий ад! А срам-то какой для человеческой гордыни! Вот тебе и скепсис, вот тебе и наука! И все эти Галилеи и Коперники – все по сковородкам рассажены и жарятся за распространение ложных слухов.

Тут уж и я ввязалась в разговор.

– Это, – говорю, – действительно, очень страшно – то, что вы рассказываете. Но есть во всем этом нечто утешительное, что делает этот наивный ад местом не столь уж отвратительным. А именно то, что в аду этом предполагается для каждого грешника особая сковорода. Я одобряю это не в смысле комфорта или гигиены, а имея в виду, что при этом для них недопустимо взаимное общение. Хотя, с точки зрения грешника, это, может быть, большой дефект и сущая мука.

– Темно говорите, не понимаю, – прервал меня хозяин.

– А я это в том смысле, что лишены они возможности друг другу гадости делать. Тяжело ведь это, а?

Все опустили головы и замолчали.

Страшны, страшны муки адовы!



**Сладка земная жизнь!**

## Гурон

Когда Серго приходил из лицея, Линет отдыхала перед спектаклем. Потом уезжала на службу в свой мюзик-холл.

По четвергам и воскресеньям, когда занятий в школе нет, у нее бывали утренники. Так они почти и не виделись.

На грязных стенах их крошечного салончика припилены были портреты Линет, все в каких-то перьях, в цветах и париках, все беспокойные и непохожие.

Знакомых у них не было. Иногда заезжал дядюшка, брат Линет. Линет была теткой Серго, но ему, конечно, и в голову не могло прийти величать ее тетушкой. Это было бы так же нелепо, как, например, кузнечика называть бабушкой.

Линет была крошечного роста, чуть побольше одиннадцатилетнего Серго, стриженная, как он. У нее был нежный голосок, каким она напевала песенки на всех языках вселенной, и игрушечные ножки, на которых она приплясывала.

Один раз Серго видел в салончике негра и лакированного господина во фраке.

Лакированный господин громко и звонко дубасил по клавишам их пыльного пианино, а негр ворочал белками с желтым припеком, похожими на крутые яйца, каленные в русской печке. Негр плясал на одном месте и, только изредка разворачивая мясистые губы, обнажал золотой зуб – такой нелепый и развратный в этой темной, звериной пасти – и гнусил короткую непонятно-убедительную фразу, всегда одинаково, всегда ту же.

Линет, стоя спиной к нему, пела своим милым голоском странные слова и вдруг, оставаясь, с птичьей серьезностью говорила: “Кэу-кэу-кэу”. И голову наклоняла набок.

Вечером Линет сказала:

– Я работала весь день.

“Кэу-кэу” и золотой зуб была работа Линет.

Серго учился старательно. Скоро отделался от русского акцента и всей душой окунулся в славную историю Хлодвигов и Шарлеманей – гордую зарю Франции. Серго любил свою школу и как-то угостил заглянувшего к нему дядюшку свежесдобренной длинной тирадой из учебника. Но дядюшка восторга не выказал и даже приуныл.

– Как они все скоро забывают! – сказал он Линет. – Совсем офранцузились. Надо будет ему хоть русских книг раздобыть. Нельзя же так.

Серго растерялся. Ему было больно, что его не хвалили, а он ведь старался. В школе долго бились с его акцентом и говорили, что хорошо, что он теперь выговаривает как француз, а вот выходит, что это-то и нехорошо. В чем-то он как будто вышел виноват.

Через несколько дней дядя привез три книги.

– Вот тебе русская литература. Я в твоём возрасте увлекался этими книгами. Читай в свободные минуты. Нельзя забывать родину.

Русская литература оказалась Майн-Ридом. Ну что же – дядюшка ведь хотел добра и сделал, как сумел. А для Серго началась новая жизнь.

Линет кашляла, лежала на диване, вытянув свои стрекозиные ножки, и с ужасом смотрела в зеркальце на свой распухший нос.

– Серго, ты читаешь, а сколько тебе лет?

– Одиннадцать.

– Странно. Почему же тетя говорила, что тебе восемь?

– Она давно говорила, еще в Берлине.

Линет презрительно повела подщипанными бровями.

– Так что же из этого?

Серго смутился и замолчал. Ясно, что он сказал глупость, а в чем глупость, понять не мог. Все на свете вообще так сложно. В школе одно, дома другое. В школе – лучшая в мире страна Франция. И так все ясно – действительно лучшая. Дома – надо любить Россию, из которой все убежали. Большие что-то помнят о ней. Линет каталась на коньках, и в имении у них были жеребята, а дядюшка говорил, что только в России были горячие закуски. Серго не знал ни жеребят, ни закусок, а другого ничего про Россию не слышал, и свою национальную гордость опереть ему было не на что.

“Охотники за черепами”, “Пропавшая сестра”, “Всадник без головы”.

Там все ясное, близкое, родное. Там родное. Сила, храбрость, честность.

“Маниту любит храбрых”.

“Гуроны не могут лгать, бледнолицый брат мой. Гурон умрет за свое слово”.

Вот это настоящая жизнь.

“Плоды хлебного дерева, дополненные сладкими корешками, оказались чудесным завтраком”...

– А что, они сейчас еще есть? – спросил он у Линет.

– Кто “они”?

Серго покраснел до слез. Трудно и стыдно произнести любимое имя.

– Индейцы!

– Ну, конечно, в Америке продаются их карточки. Я видела снимки в “Иллюстрации”.

– Продаются? Значит, можно купить?

– Конечно. Стоит только написать Лили Карнавцевой, и она пришлет сколько угодно.

Серго задохнулся, встал и снова сел. Линет смотрела на него, приоткрыв рот. Такого восторга на человеческом лице она еще никогда не видела.

– Я сегодня же напишу. Очень просто.

Линет столкнулась с ним у подъезда. Какой он на улице маленький со своим рваным портфельчиком.

– Чего тебе?

Он подошел близко и, смущенно глядя вбок, спросил:

– Ответа еще нет?

– Какого ответа? – Линет торопилась в театр.

– Оттуда... Об индейцах.

Линет покраснела.

– Ах, да... Еще рано. Письма идут долго.

– А когда может быть ответ? – с храбростью отчаяния приставал Серго.

– Не раньше как через неделю или через две.Пусти же, мне некогда.

– Две...

Он терпеливо ждал и только через неделю стал вопросительно взглядывать на Линет, а ровно через две вернулся домой раньше обычного и, задышавшись от волнения, прямо из передней спросил:

– Есть ответ?

Линет не поняла.

– Ответ из Америки получила?

И снова она не поняла.

– Об... индейцах.

Как у него дрожат губы. И опять Линет покраснела.

– Ну, можно ли так приставать? Не побежит же Лили как бешеная за твоими индейцами.

Нужно подождать, ведь это же не срочный заказ. Купит и пришлет.

Он снова ждал и только через месяц решился спросить:

– А ответа все еще нет?

На этот раз Линет ужасно рассердилась.

– Отвяжись ты от меня со своими индейцами. Сказала, что напишу, и напишу. А будешь приставать, так нарочно не напишу.

– Так, значит, ты не...

Линет искала карандаш. Карандаши у нее были всякие – для бровей, для губ, для ресниц, для жилок. Для писания карандаша не было.

– Загляну в Сергушкино царство.

Царство было в столовой, на сундуке, покрытом старым пледом. Там лежали рванные книжки, перья, тетради, бережно сложенные в коробочку морские камушки, огрызок сургуча, свинцовая бумажка от шоколада, несколько дробин, драгоценнейшее сокровище земли – воронье перо, а в центре красовалась новенькая рамка из раковин. Пустая.

Вся человеческая жизнь Серго была на этом сундуке, теплилась на нем, как огонек в лампадке.

Линет усмехнулась на рамку.

– Это он для своих идиотских индейцев... Какая безвкусица.

Порылась, ища карандаш. Нашла маленький календарь, который разносят почтальоны в подарок на Новый год. Он был весь исчеркан; вычеркивались дни, отмечался радостный срок. А в старой тетрадке, старательно исписанной французскими глаголами, на полях по-русски коряво, “для себя”, шла запись:

“Гуруны великодушны. Отдал Полю Гро итальянскую марку”.

“Черес десять дней отвед из Америки!!!”

“Маниту любит храбрых. Сегодня нарошка остановился под самым ото”.<sup>56</sup>

“Еще шесть дней”.

“Купил за 4 francs”.<sup>57</sup>

“Через четыре дня”.

“Она еще раз *peut etre*<sup>58</sup> не написала, но уже скоро напишет. Отвед будет черес *quinzaine*. Отме. <sup>59</sup>4 Mars. Гуруны тверды и терпиливы”.<sup>60</sup>

– До чего глуп, до чего глуп! – ахала Линет. – Это принимает форму настоящей мании. И как хорошо я сделала, что не написала в Америку.

---

<sup>56</sup> Автомобилем (от *фр.* auto).

<sup>57</sup> Франка (*фр.*).

<sup>58</sup> Может быть (*фр.*).

<sup>59</sup> Две недели (*фр.*).

<sup>60</sup> Март (*фр.*).

## Первое апреля

Когда он вернулся, Лизетта спрыгнула с кровати, где, по обычаю своему, целыми часами сосредоточенно разглядывала собственные ноги и придумывала себе псевдоним для артистической карьеры. Хороший псевдоним и хорошие чулки – это, конечно, главное, и раз это дело в порядке, то искусство набежит уж само собой. А если пустить себя по живописи, так тут и чулок не надо, с одним псевдонимом управисься. Последний псевдоним и был “Лизетта”.

Лизетта спрыгнула с кровати.

– Выдали? Принес? Да отвечай же!

Но взглянула на него и сразу все поняла без ответа.

– Отвечай, подлец!

Лицо у него было безнадежно унылое, вытянувшееся, и смотрел он вбок, и качал головой, как баба, разбившая чашку.

– Нет, Лизетточка. Все кончено. Не выгорело мое дело. Окончательный провал.

– Что-о?

– Провал. И надеяться не на что. Придется искать службишку на заводе.

Он сел и тупо уставился в угол.

Лизетта растерянно раскрыла рот, точно задохнулась, и вдруг дрыгнула ногами и завизжала так громко, что он даже вздрогнул.

– А-а! Так! Теперь, значит, не на что надеяться? Значит, все это вранье было? Отвечай, подлец, когда с тобой говорят!

– Чего ты кричишь? – удивился он. – При чем тут вранье?

– При чем вранье? С первой встречи долбил, что вот-вот двадцать тысяч получит. Восемь месяцев врал изо дня в день, всю душу измотал. А я-то, дура, верила ему, собаке, каждое утро молоко на спиртовке кипятила! Как самая последняя идиотка пиджак ему починала, дураку паршивому.

– Нюрочка, то есть Лизетта, опомнись, что ты говоришь!

– Околпачил женщину, чертов раздрыпа!

– Господи! Что за выражения, что за жаргон! Лизетта, я не узнаю тебя. Жена преображенного офицера.

– Все мы за границей преображенные, нечего дурака валять!

– Так стало быть...

– “Стало быть”! Видел ли еще свет такую идиотину! И я из-за него, из-за пуделя зобатого, молодость свою загубила и карьеры лишилась. Да если бы я тебя, проходимца, на пути своем несчастном не встретила, так теперь, может быть, давно бы уже в опере пела.

– Лизетта! – воскликнул он в радостном ужасе. – Лизетта! Да ведь ты, оказывается, форменная дура. Форменнейшая дура!

– Теперь дура! Как все поняла, так дура! А когда в деньги твои верила да тебе, жулику треклятому, пиджаки зашивала, тогда не дура была? Тогда была умная?

– Вульгарнейшая баба! – все с большей радостью ужасался он.

– Теперь баба, а как молоко ему кипятила, так тогда не баба. Нет, ты бы меня тогда бабой называл, когда я тебе молоко кипятила.

– Уди-ви-тельно! Нет, каково! Это, прямо, и не выдумаешь! – разводил он руками.

– Ты чего же расселся?! Думаешь, так и будет? Нет, милый мой, ищи себе другую дуру! Не твоему носу рябину клевать, это ягода нежная.

– Господи! Господи!

– Снимай чемодан со шкапа! Я укладываться буду.

– Да ведь это, между прочим, мой чемодан.

– Тво-ой? Ничего здесь твоего теперь нету. Работала на него восемь месяцев, пиджак зашила, как каторжная, да еще чемодана не смей тронуть. Нет, брат, не на таковскую напал. И наволочку возьму, и банку из-под варенья, она мне в новой жизни может быть полезна. И уж, конечно, спиртовку возьму. Она ни при какой карьере не может быть лишней.

Он встал, не спуская с нее удивленных глаз, стянул за ремень чемодан со шкафа и, стряхнув с рукавов пыль, сказал спокойно и тихо:

– Слушай, дура ты несчастная! Деньги я получил все сполна, все двадцать тысяч. Вот они, у меня в кармане. Видишь? Двадцать тысяч. А я вспомнил, что сегодня первое апреля, и решил пошутить, обмануть тебя.

– Молчи, Володька, глупый! Ха-ха-ха!

Лизетта от хохота повалилась на пол и брыкала ногами.

– О-ох! Не могу! Все дело испортил! Ха-ха-ха! Первое апреля! Первое апреля! Ха-ха-ха!

И, немного успокоившись, но все еще хохоча, прыгнула к нему на шею.

– Зачем же ты признался, глупенький мальчик? Ведь я хотела уложить чемодан и даже выйти за дверь, а уж оттуда закричать: “Первое апреля!” – и влететь обратно. А ты все дело испортил!

– Так, значит, ты... Значит, я... – лепетал он, стараясь освободить шею от цепких рук.

– Молчи, глупенький! Целуй свою Лизетку, которая тебя так хорошо надула!

– Ничего не понимаю. Значит, ты знала, что я получил деньги?

– Ничего я не знала. Не все ли равно, есть у тебя деньги или нет? Я тебя люблю. А как ты сказал, что дело провалилось, так я сразу и решила комедию разыграть. Ну-ка, думаю, поверит или не поверит? А ты, дурашка, и поверил. Ха-ха-ха!

– Н-да, я, признаться... – лепетал он.

– Ну на что мне твои деньги? Я сама – золото. Вчера Винский мне категорически обещал устроить меня в синема. Видишь – на что мне теперь деньги?

– Ну все-таки, первое время...

– Разве что первое время, – нехотя согласилась она и задумчиво прибавила: – А мне, в сущности, очень неприятно, что ты мог поверить, будто я такая грубая и жадная! А еще говорил, что любишь!

– Прости меня, маленькая! Я дурак. Но зато убедился, что ты действительно талантливая актриса. Дай мне твои ручки. Не сердись?

– Не-мно-жко... Чу-уть-чу-ть!

Кто кого надул?

## Танго смерти

Наш приятель-француз, писатель и знаток Парижа, как светлого, так и темного, обещал показать нам ночной кабачок, где танцуют со своими дамами настоящие апашы.

– Будет вам случай протанцевать с настоящим апашем.

Это мне показалось очень интересным. Долго обдумывала туалет и очень удивилась, когда француз сказал:

– Да идите в чем есть! Только кольца на всякий случай оставьте дома.

Кое-кто надо мной посмеивался.

– И вы верите, что существуют такие апашы с красными шарфами на шее, с ножом за поясом и преступлениями на совести? Будьте уверены, что все эти кабачки устроены специально для туристов.

Накануне знаменательного дня принесли мне газету – кажется, “Матэн”.

– Вот почитайте! Здесь уже вперед описано ваше завтрашнее приключение.

Читаю идиотский рассказ о том, как одна писательница (какое отвратительное совпадение!) поехала в кабачок апашей изучать нравы. Там увлеклась ярким представителем парижского дна и выдала себя за апашку. Представитель дна отнесся к ней с исключительным интересом. Потом выяснилось, что он богатый турист, пришедший изучать нравы.

Все это было чрезвычайно глупо.

Ведь раз существуют апашы – а ведь с этим не поспоришь, сколько раз они фигурировали на суде, и мы видели их портреты в том же самом “Матэн”, – так вот, раз они существуют, то вполне естественно, что существуют и кабачки, где они веселятся.

Я, во всяком случае, в это верю и отказывать себе в удовольствии поплясать с убийцей – не намерена.

А вы смейтесь, сколько угодно.

Rira bien, qui rira le dernier.<sup>61</sup>



Мы сидели на скамейке за длинным деревянным столом, залитым вином и пивом.

Душно. От табачного дыма все мутно, зыбко, все плывет, уплывает, как в тумане речном.

Ревет гармошка, растягиваемая рыжим парнем. Публика набила вплотную скамейки и табуретки, на каждом месте сидят по двое, по трое, боком, друг на друге.

Посреди комнаты танцуют, пробивая себе путь локтями и каб-луками. Кавалеры, положим, не в красных шарфах, а просто в мягких грязных воротниках, в мятых пиджачках, плохо бритые. У некоторых лоб покрыт явно апашской челочкой.

Дамы – типа горничной маленького отеля. С голыми грубыми руками, плохо обстриженные, неладно завитые, ярко раскрашенные, башмаки на них грубо-нарядные, с пряжками и бляшками. Неужели не апашки?

Туристов никаких не заметно.

Кто-то кивнул мне через табачный дым. Или показалось?

Перед нами ликер в грязных рюмках. Духота нестерпимая.

– Смотрите, смотрите – он вас приглашает. Что же вы не идете?

Тот, кто кивнул, высокий белокурый апаш, встал со своего места и жестами приглашает меня.

---

<sup>61</sup> Хорошо смеется тот, кто смеется последний (*фр.*).

– Какой ужас! Ни за что не пойду!

– Да ведь вы же для этого и шли. Чего же вы боитесь? – урезонивали меня друзья.

Апаш, расталкивая публику, шагая через табуретки, шел ко мне.

– Ни за что на свете! Ни за ч...

Апаш подошел, сколько мог пробраться, и звал жестами танцевать.

– Может быть, неловко отказать? Обидится и зарежет. Да уж, раз пришла, делать нечего.

Апаш ничего, не очень страшный. Костюм на нем летний, что для января месяца не очень уж элегантно. И изрядно потрепанный. Но морда, если не считать явно дегенеративных надбровных дуг и тяжелой челюсти, свидетельствующей о наследственной склонности к убийству, была бы, пожалуй, добродушная.

Он ввел меня в плясовый водоворот.

Вот оно, “танго смерти”. Начинается! Рассматриваю его исподтишка. Интересно, есть за ушами выпуклости, свидетельствующие о зверских наклонностях? Кажется, есть... Интересно, какое у него выражение лица, когда он душит?.. Надбровные дуги ужасны! Прямо из Ломброзовского альбома преступных типов...

Ищу глазами своих спутников, но они утонули в табачном тумане, и только голубая мгла зыблется пластами на месте их гибели.

Апаш приближает губы к моему уху.

– ...ой... евс...

Ничего не слышно, такой грохот кругом.

Но он повторяет, и я слышу отчетливо и ясно:

– Tolstoi et Dostoewsky!

Да, да – “Толстой и Достоевский”. Вот тебе и апаш!

Много раз слыхала я эти имена от французов, почти при каждом новом знакомстве. Каждый культурный француз, знакомясь с русским писателем, считает долгом упомянуть Толстого и Достоевского. С одной стороны, это любезность по отношению к русскому, а с другой – свидетельство о собственной культурности.

Когда я была больна и лежала в парижской больнице, каждый врач, узнав, что я русская, прежде чем спросить, что у меня болит, говорил:

– Ah! Tolstoi et Dostoewsky!

Иные при этом многозначительно поднимали брови, другие лукаво подмигивали – знаем, мол, какие штуки за вами водятся! Ко всему этому я привыкла и уже не удивлялась. Но апаш, апаш сразил меня!

Я выпучила глаза, сбилась с такта и остановилась.

– Я слышал, что вы говорили по-русски, – продолжал апаш, налаживая сбитое танго. – Я страшно увлекаюсь русской литературой и теперь стал изучать русский язык, специально для того, чтобы прочесть в подлиннике “Les frères Karamazoff”. C’est très karacho! Très karacho! <sup>62</sup>

– Вы... студент?

– В настоящее время нет.

Музыка смолкла. Я вернулась к своему столу. По удивленным лицам моих спутников поняла, какое у меня растерянное лицо.

– О чем вы с ним так горячо беседовали?

– О Толстом и Достоевском.

– Ха-ха-ха! – захохотали все в ответ. – Нет, слушайте, скажите правду!

– Я же вам говорю, что о Достоевском. Чего же вы еще хотите?

– Не приставайте к ней, – посоветовал кто-то. – Вы же видите, что она не хочет отвечать.

– Может быть, более разумнее будет, если мы сейчас же уйдем? – посоветовал другой.

---

<sup>62</sup> “Братья Карамазовы”. Это очень карашо! Очень карашо! (фр.)



- Конечно! Бог его знает, что у него на уме. Видите, как она расстроена.
- Идем, идем! Не оборачивайтесь!

## Тихий спутник

На днях ушел от меня маленький друг, тихий спутник последнего десятилетия моей жизни, следовавший за мной преданно и верно по всем этапам тяжелого беженского пути. Ушел так же загадочно, как и появился когда-то.

Где он? Почему бросил меня?

Может быть, он уже давно исчез, а я только теперь заметила. Я ведь никогда не обращала на него внимания, я только терпела его присутствие, это он сам следовал за мной. Маленький, корявый, неопределенного цвета, неопределенной формы – обломок цветного сургуча.

Первый раз заметила я его весной 1917 года. На моем большом нарядном письменном столе, сверкавшем ледяными кристаллами хрустального прибора, с левой стороны, между пепельницей и пресс-папье, спокойно и сознательно поместился этот закопченный, чужой и ненужный огрызок. Я удивилась, как он ко мне попал, хотела сейчас же выбросить, потом забыла, и он остался. Я, вероятно, просто не замечала его в рассеянности своей и, не замечая, привыкла, и вид его не раздражал и не привлекал моего внимания. Так он жил, и ничего в этом удивительного нет. Я не замечала, а он жил. Разве это редко в нашей жизни?

Прислуга, стирая пыль со стола, бережно укладывала его на то же место, верно, думала, что он предмет нужный и важный, за который, пожалуй, и ответить придется.

Первый раз поняла я его преданность, когда, приехав из Петербурга в Москву на несколько дней по делам, открыла чемодан и увидела сразу, сверху, на саше с носовыми платками, очевидно, втиснутый наспех в последнюю минуту, этот огрызок закоптелого сургуча. Я ничего не взяла с письменного стола и уж, конечно, не сама положила абсолютно мне не нужную ерунду. Сам он залез, что ли?

Я бросила его на отельный столик и забыла.

Вернувшись в Петербург, разбирая чемодан, нашла его, испуганно забившегося в складку кожи. Куда я его выбросила, – но, конечно, выбросила – не заметила сама. Вечером он уже лежал на своем обычном месте. Я ли машинально положила, или прислуга нашла и, помня, что это вещь нужная, водворила его на место. И я снова перестала его видеть – привычно не замечала.

Подожли страшные дни. Под окнами стоял грузовик с пулеметом; он трещал по ночам железным горохом, от которого дребезжали стекла и дрожали висюльки абажура мертвой лампы над моим столом. Электричества не давали. Холодным сталактитом в мутном уличном свете леденела огромная граненая чернильница и длинная, никогда не нужная, любимая только за красоту, хрустальная линейка и тяжелое, как надгробный памятник, пресс-папье, погребавшее мелкие квитанции навеки так, что их и найти нельзя было. Они не двигались, эти тяжелые камни, но дребезжащий, дрожащий абажур выдавал настроение всего стола: ему было страшно.

Загрохотали ворота – в них били прикладами. И на столе зазвенело что-то: это стеклянная марочница, тонкая и нервная, упала в обморок и скатилась со стола. И, ставя ее впотьмах на прежнее место, руки мои нащупали маленький, гладкий, непонятный кусочек. Я осторожно, спрятавшись за дверь, чтобы не было видно с улицы, зажгла спичку и посмотрела: это был мой обломок сургуча. Я бросила его около печки. Утром он лежал с левой стороны стола.

Черные, сонные дни, белые, бессонные ночи. Уходили, пропадали люди. Уходили и не возвращались вещи. И те, и другие не заменялись, и обнажалась жизнь, голая и безобразная.

С письменного стола первой ушла чернильница. Как Соня Мармеладова, завернулась в драдемамовый платок, пошла на базар и продавалась для поддержания существования близких: лампы, линейки, марочницы и меня.

Потом ушли и другие. Осталось пустое сукно с начертанными пылью воспоминаниями о том, что когда-то здесь было. И с левой стороны стола один, только один маленький темный обломок. Он. Сургуч.

Я уехала, взяв только самые необходимые вещи. Среди них вылез из чемодана и улегся на обшарпанный отельный стол – мой верный урод, сургучный огрызок. Это было в Москве.

Потом была поездка в Киев на самый короткий срок, чтобы прочесть на вечере свой рассказ. В чемодане только бальное платье да сургуч.

Киев. Петлюра. Обыски. Путь на север отрезан. Катимся ниже, ниже. И вот мы с сургучом уже в Одессе. Паника, стрельба. Приветливые ослы черных белозубых войск, ослы, только вчера шедшие головами к нам, хвостами к морю, бегут, подбодряемые палкой, и хвосты их уже повернуты к нам.

Новороссийск. В пустом чемодане один он, выброшенный мной собственноручно в Одессе кусок сургуча. Надоел. Неужто в целом мире не найдется никого, чтобы проводить меня?

Константинополь.

Веселый разговор:

– Может быть, можно что-нибудь еще продать? Боюсь, что скоро окажемся на дне.

– Господа, не бойтесь. Ведь мы уже на дне. Это и есть дно. Видите, как просто и совсем не страшно. Разломаем этот бублик на четыре части...

– Может быть, у вас что-нибудь найдется?

– У меня флакон из-под духов и вот... кусочек сургуча.

Париж. Берлин. Я совсем забыла о нем. И вот в тревожный день, когда вся душа дрожала, как те висюльки на абажуре, я написала письмо мирового значения (мирового для моего мира, единственного, в котором живет человек и вместе с которым гибнет). Письмо мирового значения надо было запечатать сургучной печатью. И вот первый раз взяла я его в руки, этот бурый комок, взяла не для того, чтобы бросить, а чтобы использовать. Он зашипел на свечке, оплыл черной лавой, и вдруг упала на бумагу ярко-лазурная неожиданная капля.

Так странно это было, и для души дрожавшей благословенно, как чудо.

– Так вот ты какой!..

И опять бросила, и опять забыла.

И вот долгая, тяжкая болезнь, больница.

Красные туманы горячки. Круглая голова ласкового тигра без шеи, лежащая на круглом кружевном плато, как усекновенная глава на блюде. Наклоняется надо мной... Ах да – это бывшая квартирная хозяйка фрау... фрау... не помню. Это она в кружевном праздничном воротнике. Она протягивает мне что-то.

– После вашего отъезда, – говорит она, – я нашла в столе вот это. У меня ничто не должно пропадать – я принесла.

Всматриваюсь через колыхающуюся красную мглу – он! Обломок сургуча. Нашел меня, пришел. Столько прожили вместе...

И в эту минуту, в озарении огненной свечи стоявшего у ног моих Архангела Уриила, скорбного ангела смерти, тогда пожалевшего меня, увидела я в этом маленьком корявом кусочке то, что в обычной жизни люди видеть не могут: существо безликое, выражающее обликом нечеловеческим человеческую печаль, заботу, и ласку, и страх за меня, и преданность.

– Сколько прожито вместе!

Кто сказал это? Я? Он? Все равно, друг мой маленький, неживой урод, единственный – иди ко мне!

И вот теперь он ушел. Может быть, и не теперь, а давно, а я только случайно сейчас заметила это...

## Народный язык

На днях слышала выражение:

– Он с большим аппетитом улепetyвал суп.

Улепetyвал. Очевидно, вместо “уплетал”.

Через год, пожалуй, и сама так скажу.

Многие подумают, что, в сущности, жалеть нечего. Что “уплетать” выражение не классическое и речи нашей не украшает. Оно вульгарно, оно “арго”.

Но вот это-то и есть истинная душа языка, его лицо, его вдохновение. Какое бесконечное количество оттенков в этом простом народном языке, какое виртуозное проникновение в психологическую сущность определяемого объекта.

Как определите вы в классических пределах некрасивое лицо? Вы так и скажете: “Лицо его было некрасиво” – и потом замучаетесь в деталях: слишком широкое или слишком длинное, тусклое, багровое, глупое. Долго, сложно, запутанно и неудачно.

Народный язык говорит ясно. Некрасивое лицо – это либо “рыло”, либо “харя”, либо “рожа”, либо “морда”. И здесь вам уже не понадобятся бесконечные прилагательные. Разве одно, а то и ни одного не нужно.

“Харя” значит на старом нашем языке святочная маска. Маски эти всегда были страшные, зловещие, пугали.

“Харя” широкая, скуластая, с распяленным ртом, бледная, косая. “Рожа” – наоборот – красная, масляная, улыбается, здоровая. “Харя” – нежить и страх. “Рожа” – жизнь беспечная.

“Рыло”, конечно, унылое (от слова “рыть”, у свиньи рыло), глаза вниз.

“Морда” – физиономия нейтрально животная, не слишком круг-лая, но и отнюдь не длинная, рот набок, довольно добродушная и безвредная.

“Рожа” живет в провинции, любит поврать, рассказывает анекдоты, охотно женится, устраивает спектакли.

“Харя” может вдохновляться и декламировать Бодлера. Влюбляется трагически, отказывается от дуэли, из принципа, ненавидит новые танцы.

“Рожа” любит выпить. “Харя” напивается жестоко. “Рожа” легкомысленно. “Харя” хандра, любит уличить и резать правду-матку. Что касается “рыла”, то оно более всего склонно к критике: роет, роет, копает, доискивается корней. “Рыло” уныло и трусливо, боится будущего, говорит: “Ауспиции тревожны”. Оно очень самолюбиво и мстительно. “Харя” раздует бледные ноздри и уничтожит врага. У “хари” натура бурная. “Рыло” мстит исподтишка. “Харя” – Отелло, “рыло” – Яго.

“Морда” ничтожнее всех. “Морда” – коровья, овечья, волчья. На ней простой звериный (не зверский) отпечаток. “Морда” – человек средний, компании никогда не испортит, но и не выдвинется ничем.

Русская душа, хорошо чувствующая родной язык, никогда не ошибется в этой классификации и, не задумываясь, инстинктивно, всегда отметит подходящим словом. Иностранец разберется с трудом. Ему все эти лице-распределения будут казаться бранными и только, и, владея русским языком, он спокойно назовет типичнейшее рыло рожой и будет думать, что прав.

Так же тонко классифицирует русский человек и интеллект ближнего своего. Какие виртуозные нюансы придумал он для определения разряда и качества человеческой глупости!

Слово “дурак” – действительно грубое, нейтральное слово, и, потому что грубо, действительно может показаться ругательным. Сказал “дурак” и отделался. Нет, русский человек любовно и пристально изучил своих дураков и в одном слове определит не только окраску глупости данного субъекта, но даже внешний вид его, так как, конечно, содержимое отражается на содержащем, сквозит, просвечивает.

Возьмем наиболее распространенные слова: болван, дурень, оболтус. Я не говорю о слове “идиот”, которое не русское и обозначает просто болезненное состояние мозга.

Итак – “болван”. Слово это происхождения божественного, так как именем этим назывались в древности наши идолы. Болван и отмечает идольскую статуарность данного дурака. Болван – это именно тот, которому “хоть кол на голове теши”. Тупостью, равнодушием, упорством болван доводит до бешенства. Это самый раздражающий тип дурака. “Дурень” добродушен, весел, сам знает, что не умен и сам над собой посмеивается. Дурня любят и говорят любовно: – Экка дурень!

Болван озлобляет, и самое слово это произносится сердито, определенно негодующей интонацией. Дурню прощают эту его особенность – болвана укоряют. Внешне – дурень художавый, длиннолицый, с лукавым глазком.

“Болван” плотный, безнадежно крепкий.

“Оболтус” – человек молодой, скорее всего учащийся и, вернее, выгнанный из учебного заведения. Оболтусы часто готовятся куда-то поступать, и всегда у них на носу экзамены. Оболтус высок ростом, с короткими штанами. Он грубит родителям, опаздывает к обеду. Очень часто у оболтуса к всеобщему удивлению оказывается талант. Именно из них часто выходят музыканты, поэты и актеры. Музыканту и актеру специального ума не надо, а поэт даже “должен быть, прости господи, глуп” (долгом этим, между прочим, часто злоупотребляют). Критиков среди них не встречается, потому что критик, в противовес поэту, должен быть, прости господи, умен и образован.

Оболтус, пожалуй, и не очень глуп, он только ничего не понимает в обыденной жизни: не понимает времени, всегда опаздывает, всегда всем неудобен, говорит то, о чем надо бы помолчать, ленив. Когда какие-нибудь семейные хлопоты, спешка, от оболтуса помощи не жди. Он пойдет куда-нибудь во двор и будет безмятежно стругать ножом палочку – черт его знает для чего.

У оболтуса может быть интересное будущее в искусстве. Из болванов иногда выходят профессора. Дурень ни на что не годится, зато всегда приятен и доброжелателен.

Как видите, спутать эти разновидности никак нельзя. И видите сами, сколько понадобилось усилий для определения типов, которые народный язык, яркий и меткий, характеризует одним словом.

## К Востоку

К пальмам? К верблюдам? К муэдзинам и минаретам? Почти, но не совсем. Просто к востоку от Парижа – в Варшаву.

Есть страшный сквозной поезд – Париж – Москва, о котором ходят легенды как о Летучем Голландце. Говорят, что едут в этом поезде под легким буржуазным гримом самые страшные большевики, везут в блиндированных чемоданах из Москвы пропаганду, из Парижа шелковые чулки. Поезд летит, изрыгая черный дым, а внутри большевики ведут свою линию: шпионят, доносят, заманивают и губят.

Среди них, говорят, есть и женщины. Они все шпионки на большом жалованье. Завоевывают красотой. За каждую завлеченную голову получают премию. Возят во все стороны шелковые чулки и очень опасны.

Так вот на этом поезде я не поехала, а поехала на дневном. До Берлина от него флюид нормальный, после Берлина – с дымом мирового пожара.

Прежде всего все молчат. Разговаривала только честная польская семья, ехавшая на родину. Самый младший член этой семьи, переваливаясь на мягких трехлетних ногах, ходил по коридору, заглядывал в открытые двери купе, заводил ребячьи разговоры про какого-то кота и ложку. Молчаливые фигуры высоко поднимали воротники и испуганно, по-лошадиному, косили глазом. По новым сапогам и европейски вытуженным новым недорожным платьям видно было, что перевалят за вторую границу (надели на себя новое, чтобы не платить пошлин). Это-то не беда – все так ездим, а вот что касается молчания – оно жутко. Молчание это уже отметил один из побывавших в России французов. И его оно смутило и заставило кое о чем призадуматься.

Со мною в купе оказалась молодая немка. Когда проверяли ее билет, выяснилось, что едет в Россию.

Немка простоватая, такие бывали у нас бонны: на лбу кудряшка, ноги деревянные, носик засморканный. Закуталась в вязаный платок, молчит.

Зачем, думаю, ехать такой немке в Россию?

Спрашиваю с любезной миной:

– Вы в Россию едете?

Немка совсем перепугалась от страха, притворилась мертвой, как охотник, когда медведь завалит. Охотники уверяют, что это лучший способ, так как медведи мертвого не трогают.

Но на этот раз медведь не отстал и пошел немку поворачивать.

– Из окна дует? Хотите, закроем?

Мычит что-то.

Как от нее раздобыть языка?

Протянула ей коробку с шоколадом. И вдруг немка отмякла, задрезбуждала всем телом и показала четыре разноцветных зуба: серый, желтый, зеленый и золотой.

Она была моя!

И я воспользовалась доверием женщины: немка ехала в Россию, куда ее выписал поступивший туда на службу муж. Он уже более года в России и давно ее звал, но она боялась ехать, потому что у нее есть шуба.

Я подумала, что я ее плохо поняла.

– У вас нет шубы? Вы боитесь морозов?

– Нет, у меня есть шуба, и я боюсь не морозов.

Что за ерунда!

– Я не особенно хорошо говорю по-немецки, не правда ли?

– Да, я это слышу, – любезно согласилась она.

Вспомнились наши милые парижане, для которых всякий иностранец великолепно говорит по-французски.

– Но все-таки, чего же вы боялись?

Немка краснеет, как бурак, и смотрит на меня недоверчиво.

– Я больше ничего не боюсь. Франц написал, что меня не будут даже расстреливать. Я очень довольна и еду.

Покладистая моя немка. Немного ей нужно.

Прохожу по коридору. Весь вагон молчит. Ноги вытянули, смотрят на новые сапоги, уткнули носы в новые шарфы, распялили руки в новых перчатках и молчат.

Если это называется пропагандой коммунистических идей, то способ избран довольно странный. Или эти молчаливники – просто тихие граждане СССР, набитые шелковыми чулками?



Варшава.

– Носильщик! – кричу я. Не знаю, как по-польски.

– Пожалуйте-с, – отвечает спокойно бородач. – Вам, барыня, извозчика?

“Барыня”! “Извозчика”! Слова из далекой жизни, из затонувшей Атлантиды. Точно старую книгу читаю или сижу в парижском партере на гастролях Художественного театра.

“Извозчик”! Ну что за чудесное слово? А “барыня”? Ведь “барыни” больше совсем на свете нет. “Барыня” еще в 1919 году умерла. Сменила ее “товарищ-мадам” в стоптанных туфлях на босую ногу, с куском сломанного забора под мышкой. Теперь, говорят, и эта красочная персона исчезла. Осталась нудная “гражданка”. А живет милая “барыня”, доживает уже недолгий век свой только в речи этого носильщика, вероятно, всю жизнь прожившего в России польского гражданина.

Легкомысленного, фривольного настроения бывшего “маленького Парижа” уже нет. Варшава стала серьезной.

Была она когда-то нашей дверью в Европу. Весело и праздно ехали мы через нее, через “маленький Париж” в Париж большой, на шумные курорты, в богатую и нарядную “заграницу”.

Теперь – это дверь в Россию. Закрытая. Очень сильно она здесь чувствуется, Россия. Ловишь дыханием ветерок с востока, ловишь запах русских осенних полей, унылых, но вольных, в горизонтах беспредельных. Слышишь речь польскую, такую близкую, сестринскую. И самый дух народа, славянский, Божий.

– Нех бенде похвалоне – Благословенно имя Его, – здороваются друг с другом городские старички.

– Во веки веков, – отвечают им.

Можно ли перенести эту фразу на улицы Парижа, Лондона, Берлина?

Слова древнего, непоколебленного благочестия. Вспоминается предсказанное Мицкевичу:

– В жизнь твою войдет человек. Имя Божие будет его приветствием.

– Благословенно имя Его, – сказал Товианский, великий мистик, постучав в двери Мицкевича.

И слова эти стали рычагом его жизни.

Имя Божие так тесно вплетено в речь славянскую, что без него в речи этой нет жизни и цвета.

Русское “не дай Бог”, “слава Богу”, “прости Господи”, “Боже упаси”, “дай-то Бог”, восклицание – “Господи, Боже мой!”. И то же в речи польской. Француз и немец скажут “Мон

Dieu”, “Mein Gott” (и при этом, как ни странно, всегда в фразе, выражающей негодование), и то очень редко. Англичанин – никогда.<sup>63</sup>

Вот эта особенность так роднит кровно речь русскую и польскую душу речи, не говоря уже о настоящем родстве общих истоков. И все это волнует и радостью, и печалью, как весть о близком, которого не увидишь.

Завтра окунись в варшавскую жизнь.

---

<sup>63</sup> Бог мой! (*фр. и нем.*)



## Приключение

Ищу нитей к прежним варшавским знакомым. Вспомнила о редакторе одной русской газеты – о Самойлове-Горвице. Ответили:

– Убит большевиками.

Стала расспрашивать. Один сказал, что погиб, разыскивая жену в России. Другие, будто служил он разведчиком одновременно у чехословаков, у большевиков, у румын, у англичан и у японцев. Когда сложная эта работа открылась – бежал к большевикам – там его расстреляли.

С Самойловым связано у меня занятное приключение “военного образца”, о котором теперь и вспомнила.

Познакомилась я с Самойловым в Варшаве в 1913 году. Он был очень любезен, услужлив, был хорошим собеседником.

Приехав в Варшаву в 1916 году, я увидала его в военной форме. Он служил в армии и заведовал шпионами. Рассказывал много интересного.

Мне тогда ужасно хотелось проехать на фронт, только не в тихую и мирную его полосу, куда ездили общественные деятели с подарками и актеры со спектаклями, а в самую гущу, в самое пекло войны.

А Самойлов еще раззадоривал:

– Есть там одно удивительное место – густые заросли на горке. Если кусты раздвинуть – все немецкие позиции как на ладони. Очень любопытно. Но зато, чуть вы эти кусты раздвинете – бац, пуля в лоб. В одно мгновенье. Ловко метят.

И до того он меня этими зарослями отравил – сама теперь не понимаю почему, что стала я, несмотря на всю свою лень, хлопотать о разрешении проехать на передовые позиции. Но в качестве чего? Корреспондентов-женщин не пускали. Сестер милосердия без специального назначения не пускали. Как пробраться?

Генералы Красного Креста очень меня жалели, очень сочувствовали, но ничего сделать не могли. Пошла к помощнику генерал-губернатора – милому, чудесному Д.Л. – другу нашей семьи.

– Ради бога, дайте проехать на передовые позиции.

Он даже руками всплеснул.

– Опомнитесь! Это такой ужас! В окопах грязь, солома. Летит снаряд, разрывается – никого не убивает. Сколько стоит? – Пять тысяч. Летит второй, разрывается, никого не убивает. – Сколько стоит? Ужас! Ужас! Шесть тысяч! Нет, дорогая, не ездите на фронт.

В полном унынии позвала Самойлова.

– Не пойду я. Не пускают.

Самойлов – длинный, черный – зашагал озабоченно по комнате. Потом остановился, улыбнулся, показав свои платиновые зубы.

– Я придумал. Я вас повезу как разведчицу.

– ?

– Завтра утром я везу на фронт шпиона, который должен перейти на ту сторону. Возьму вас с собою. Трудно будет проехать через Новогеоргиевскую крепость, а там на фронте свои люди – там вас спрячут. Только бы крепость проехать. Но если задержат, я скажу, что вы разведчица.

План был интересный. Решили, что поеду в платье сестры милосердия – меньше обратят внимание.

Начала снаряжаться. Достала кожаную куртку, огромные высокие сапоги, косынку. Сапоги хлопали на ногах, куртка пахла козлятиной, надушили ее “Ориганом Коти”. Через плечо повесила сумочку с самыми необходимыми предметами: паспортом, пудрой и шокола-

дом. Менее необходимые были завязаны в узелок. Несессера брать было нельзя – слишком нарядный вид.

В семь часов утра Самойлов был уже у меня.

– Ну, как вы меня находите?

– Вполне удачно. Хотя почему-то напоминаете... кота в сапогах. И выражение лица слишком довольное.

Внизу нас ждала коляска с кучером-солдатом.

– А шпион?

– Шпион сядет за городом.

Едем.

Страшновато. Но Самойлов спокоен. Рассказывает о разведчиках, как они ловко переходят немецкую сторону и как тот шпион, которого мы повезем, идет уже в третий раз.

Один раз украл около Лодзи немецкий аэроплан и на нем прилетел на наши позиции.

Интересно все это и жутковато. Вот, думаю, мне бы так...

Остановились у какого-то трактирчика. Тотчас же вышел небольшого роста субъект в клетчатой, надвинутой на нос фуражке. Воротник его пальто был высоко поднят, и шел он к нам, не глядя на нас, и влез в коляску, не говоря ни слова. Вот это так конспирация! Еду, мол, с ними, но ничего общего не имею.

Вид у шпиона был самый шпионский, точно он одевался и гримировался под кинематографического сыщика. Встретить такого на улице, невольно бы обернулся:

– Смотрите! Кого он тут вышпионивает? Кого выслеживает? От кого прячется?

Шпион сел к нам боком, натянул воротник до самых бровей.

Едем.

Помню, останавливались на каком-то постоялом дворе, обедали. Шпион ел отдельно, на подоконнике, тыкая вилкой между козырьком фуражки и воротником.

Под вечер подъехали к Новогеоргиевску. Застава. Подходят солдаты.

– Ваш пропуск.

Шпион и Самойлов подают бумаги. Я свой паспорт.

– Это я везу сестру на фронт под моей ответственностью, – заявляет Самойлов.

Солдаты посоветовались, пошли в сторожку, вызвали старшего.

Старшой сказал:

– Сестрице без пропуска проехать нельзя. Пусть возвращается в Варшаву.

– Ни-за-что!

– Тогда пожалуйста к коменданту.

– Отлично.

На подножки встали солдаты со штыками. Один влез на козлы. Поехали.

Помню, мне страшно понравилась крепость. Какие-то каналы, пушки, ящики, лошади, мосты, цепи, рвы...

– Когда подозрительных людей арестовывают, – рассказывает Самойлов, – они всегда требуют, чтобы их вели через крепость, а им этого только и нужно. А бумаги у подозрительных, конечно, всегда бывают в полном порядке.

– Не то что у меня! – вздохнула я.

Привезли нас в канцелярию.

Двое солдат встали у дверей.

– Зачем они тут?

– Стерегут арестованных.

– А кто же арестованный?

– Да вы.

– Я?

Вот уж никак не ожидала.

Сидим долго. Самойлов начинает волноваться. Наконец его вызывают. Отпускают довольно скоро. Потом шпиона тоже скоро. Потом вызывают меня.

Выхожу в кабинет. У дверей солдат со штыком. За столом высокий жандарм с русыми бакенбардами. Приглашает меня садиться.

– Ваша фамилия такая-то?

– Да.

– У вас есть духи “Коти”?

– Да.

(Вот так допрос!)

– И вы сестра милосердия? Гм!

– Да, я работала в петербургском лазарете (и это правда).

– Зачем вы едете?

– Хочу заняться разведкой.

– Да вас немцы на первой осине повесят, даже допрашивать не станут.

– Почему же? Я могу притвориться какой-нибудь местной крестьянкой.

Он отвернулся к окну, и по движению бакенбард видно было, что он смеется.

Когда бакенбарды успокоились, он обернулся ко мне и сказал просто:

– А теперь говорите прямо, кто вы и зачем едете?

– Кто я? Я сестра милосердия. Я работала в лазарете.

– Слушайте – у меня таких сестер милосердия, как вы, за этот месяц повешено уже две да четыре сидят и ждут своей участи. Если вы не можете сказать, кто вы, – я должен вас арестовать.

Я подумала. Все равно дело мое проиграно.

– Ну извольте. Я – Тэффи, писательница. Еду за впечатлениями.

Он посмотрел на меня внимательно, потом быстро подошел к книжному шкафу, порылся, достал книгу.

– Это ваша?

Смотрю – второй том моих рассказов.

– Моя.

– А как вы докажете?

– Могу перечислить рассказы. А если у вас есть четвертая книга – там мой портрет.

Нашел четвертую. Взглянул на портрет, повернулся к часовому, сделал знак. Часовой звякнул ружьем и вышел. Очевидно, я уже была не страшна.

– А теперь мы побеседуем.

Позвонил. Солдат принес на подносе чаю с печеньем и доложил, что Самойлов очень торопится.

– Так пусть едет.

– А вы отправитесь в Варшаву. Хотя, с другой стороны, жаль, если вы не побываете на передовых позициях. Другого случая не представится. Я не имею права вас пропустить, но я могу закрыть глаза.

– Ах, спасибо! – вскочила я.

– Постойте. Если вас кто-нибудь задержит по дороге, то я уже ничего не смогу сделать, и вас погонят этапным порядком в Варшаву. Шестьдесят верст пешком!

Я взглянула на свои сапоги.

– Нет, сапоги вам не помогут. Та приятная компания, которая пойдет с вами, сдерет с вас эти сапоги на первой же версте. Отправляйтесь лучше в Варшаву. Я вам дам свой автомобиль.

– Ну что же делать...

– А может быть, все-таки рискнете. Мне самому будет интересно почитать ваши впечатления.

– Пожалуй, рискну...

– Рискнете? Имейте в виду, что я еще и сейчас имею возможность вас арестовать.

– Ну что же делать. Вернусь в Варшаву.

– Жаль, очень жаль.

Вспомнились “Русские женщины” Некрасова: “Нет, вы поедете, – вскричал”...

Странный был человек, то подзадоривал ехать и угощал ликером, то, надув ноздри, угрожал арестом.

Солдат, вошедший с рапортом, распахнул дверь, и я увидела тоскливую фигуру верного спутника моего, Самойлова. Уперся спиной в печку, уставился глазами в пол. Ждет. Взглянула на часы – девять! А ведь он говорил, что к десяти должен явиться. Как я его подвела!

– Полковник! Я еду в Варшаву.

– Вот и отлично. Я так и знал, что вы не способны рискнуть. Сейчас вам подадут автомобиль.

Распрощались.

– Слушайте, – шепнул мне Самойлов. – Я выеду раньше вас и буду ждать на повороте. Вы остановите автомобиль и пересядете ко мне. Идет?

– Идет! Спасибо! Молчите!

– До свидания.

Самойлов вышел. За ним поплелось пальто с козырьком – шпион весь истаял.

Уехали.

– Автомобиль подан.

Огромный, длинный. У руля солдат так далеко, что, если кричать – не услышит. Я переползу к нему и останавливаю за плечо на повороте.

– Вы готовы?

Жандарм, шинель внакидку, подходит к автомобилю.

– Я проведу вас до поворота. Трогай!

На повороте коляска Самойлова. Его длинная фигура чернеет на дороге. Ждет. Ну что я могу?

– До свидания!

Вижу – влезает в свою коляску. Лошади трогают. Мокрый снег, сизая мгла.

– Про-ощайте!

Так в эту сизую мглу для меня и ушел он навсегда. И все, что узнаю о нем, теперь кажется мне таким же мутным, и зыбким, и мглистым, как его фигура тогда, в последний час, на ночной дороге.

## Письмо из-за границы

Настроения варшавской эмиграции – милые, родные, наши русские, парижские!

– Кто этот симпатичный господин с бородой во втором ряду кресел?

– Этот? С бородой? Он вам кажется симпатичным? Ну... признаюсь! Одолжили! Это зверь, монстр, предатель! Порядочный человек не только не подаст ему руки, но имя его произнести брезгает.

Ну, что же делать – спрошу у других.

– Скажите, пожалуйста, какая фамилия этого монстра с бородой? Вот того зверя, во втором ряду кресел?

– Зверя? Почему зверя? Вы, слушайте! Это милейший, добрейший, благороднейший человек, гордость русской колонии, единственный, можно сказать, оплот.

Получается точное и определенное представление, если не “о благороднейшем звере”, то, во всяком случае, о настроении эмиграции.

– Видели Чичикова? Вот там, у колонны. Эх, бессмертен наш Гоголь!

Подходит “Чичиков”.

– Что вам нашептывал наш Смердяков? Ах, живучи типы Достоевского!

Tout comme chez nous! <sup>64</sup>

В смысле языка, варшавская эмиграция резко отличается от парижской. Напрасно мы горевали, что забываем родную речь, что портим ее галлицизмами, неправильными оборотами, французскими выражениями. Мы в Париже так тесно замкнуты в свой кружок, точно обведенный магической палочкой, ограждающей нас от французов, что настоящая опасность забыта, язык угрожает только детям, учащимся во французских школах. Мы почти не бываем во французских домах, французы почти не бывают у нас. Даже объяснить трудно, как это так вышло. Французов мы всегда любили; они, в свою очередь, относятся к нам с большим интересом, восхищаются нашим искусством, удивляются глубине, широте и бестолочи славянской души, но к простому, дружескому, “бытовому” общению с нами их не тянет. Может быть, слишком мы для них экзотичны? Полюбоваться на нас, как на негритянскую пляску, вполне можно и приятно, но в домашнем быту – на что она?

А мы, любя французов, их милый, легкий, праздничный и живой характер, – мы все-таки душу их не чувствуем, навсегда они чужие для нас. Даже немецкая душа, и та нам ближе.

Когда я видела, бывало, какого-нибудь русского дворника, я знала, каким голосом он должен заговорить, знала, что он думает, как беседует с женой, чего хочет. Он весь был свой.

Француза не только дворника, но даже более близкое психологически для меня существо – какую-нибудь писательницу, артистку, художницу – не понимаю совершенно. Не знаю ее мыслей, души не чувствую, не угадываю. Чужая.

И сидим мы во Франции, как постороннее тело, как осколок снаряда, с которым, по выражению хирурга, “жить можно”. Иногда немножко беспокоит, но, в общем, почти не заметен, на общую жизнь организма не влияет, ничего от него не отнимает и сам ничего вредного не выделяет. Вполне терпим.

Здесь, в Варшаве, русские – свои. Они живут вместе с поляками общей жизнью. Многие поляки, прожившие всю жизнь в России, сами чувствуют себя сейчас как на чужбине, по-польски говорят еще плохо, с сильным акцентом.

Русские эмигранты, вращаясь постоянно в польском обществе, живя с ним одной жизнью, говорят, конечно, по-польски и невольно переносят ритм и напевность польской речи в свою родную речь, русскую. Не только давние эмигранты, но даже свеженькие, прожившие три-

---

<sup>64</sup> Все как у нас! (*фр.*)

четыре года, говорят по-русски с ужасающим акцентом и с полонизмами. Язык польский близкий, родной брат русскому, слова от того же корня, и на этом общем корне иногда зацветают цветы, способные привести в ужас как поляка, так и русского. Не говоря уже о путанице слов.

Диван – значит ковер.

Ковер – значит икра.

Кляча – породистая лошадь.

Путают “любезный” и “любезный”. А по-польски сказать: “будьте любезны” – значит “будьте сладострастны”. Просьба для салонного *causerie* не подходящая.<sup>65</sup>

По сравнению с эмиграцией варшавской, наша парижская сохранила русскую речь великолепно. Во всяком случае, акцента чужого не приобрела, да и (между нами говоря) по-французски говорить не научилась.

Обслуживает варшавскую эмиграцию одна русская газета “За свободу!”. В опытных руках Д.В. Философова газета стоит прочно, но русская публика, привыкшая к польскому языку, стала читать и польские газеты.

Центр русской печати “Русспресс” и книгоиздательство “Добро”. Дело поставлено С.М. Кельничем (сотрудник бывшего “Утра России”). Ведется энергично, по американско-сытинскому образцу. Печатаемые в большом количестве русские календари и песенники разносятся по далеким деревням, и спрос на них огромный.

“Добро” представляет также центральный склад русских книг.

– Какие книги хорошо идут в Польше?

– Из эмигрантских писателей очень хорошо идет Алданов. “Золотой узор” Бориса Зайцева, “Митина любовь” Бунина, Краснов. (Упомянул еще о моих книгах, но я, из скромности, этого не повторяю).

Но кто пользуется феерическим успехом у польских читателей, кто побил все рекорды – это Брешко-Брешковский.

– На его книгах, – рассказывает С. Кельнич, – издатели сделали карьеру. Бывало так, что маленький предприниматель, раздобыв денег на задаток, покупал у Н. Брешко-Брешковского роман на корню, издавал его, пускал в продажу и из вырученных денег платил автору и принимался за издательство других книг. Благодаря книге Брешко-Брешковского основывались издательства. Книги его печатаются по десять-пятнадцать тысяч экземпляров.

Русская колония в Варшаве – это маленький провинциальный городок. Парижская колония перед ней – столица.

В Париже общественные деятели, писатели, пять русских газет, театр, лекции, распри (идейные и личные), модные мастерские, школы, благотворительные вечера.

В Варшаве чуть дышит маленький беженский комитет. Благотворительные вечера, самые блестящие, дают около 5000 злотых.

Живется людям тяжело, бедно и скучно. Теряют язык, забывают быт, рассасываются, растворяются в близком по крови чужом народе.

Сегодня выпал снег, настоящий русский, тихий-тихий.

Люди сжались от холода, спрятали руки, втянули головы, стали беднее и тише. Напомнили, что близка земля, где сейчас тоже падает снег, еще белее, еще холоднее и тише.

Метет, замечает наши былые следы...

---

<sup>65</sup> Беседа (фр.).

## Лестница

Семь этажей. Четырнадцать поворотов.

На первом повороте площадка украшена цветным окном. Оно оклеено раскрашенной бумагой с торжественным и замысловатым рисунком – красные львы с повернутыми назад головами, шлемы с черными перьями, зеленые башни и неведомые гербы.

Пестрый свет, льющийся через эти башни, тревожит, волнует, заставляет торопиться и сомневаться. И покажется, что тех, к кому вы идете, нет дома, или они не ждут вас, не любят, или что вы перепутали день, или что услышите беспокойные, злые вести.

Пестрая бумага, кроме того, указывает, что лестница хотя и узенькая и без ковра, но хозяин от роскоши не уклоняется и ничего для жильцов не жалеет.

На второй площадке окно тоже оклеено бумагой, но с простыми синими квадратиками, без всяких львов и шлемов. Очевидно, переход от роскошного витро к голому стеклу показался слишком резким и жестоким, и хозяин смягчил его сколько мог. Следующие площадки просты, голы и будничны.<sup>66</sup>

В квартире номер первый живет мосье Марту. Кто он – никто не знает. Думают, что хозяйский родственник или знакомый. Почему так думают – неизвестно. Может быть, потому, что его обслуживает шикарное окно. Этого Марту никто никогда не видел. Но все его терпеть не могут. Все – это остальные жильцы этого дома, сплошь русские, между собой знакомые.

Так и говорят:

– Какой-то гнусный тип, вроде этого нашего Марту.

– Наверное, сидит и деньги копит.

– У нас с вами никогда ничего не будет, а вот такие Марту...

Во втором русская шляпница. Или вышивальщица. Я ее не знаю.

В третьем – кажется, тоже вышивальщица.

Она, очевидно, все куда-то бежит, потому что к двери часто приколота булавкой записка: “Дорогой Константин Андреевич! Ради бога, обождите. Сейчас вернусь. Ключ под ковром”.

В четвертом номере всегда чуть-чуть приоткрыта дверь и стрекочет пишущая машинка.

В пятом страшный крик. Три, четыре голоса, всегда разных, надрываясь, всегда кричат на все темы дня и вечности. О Горьком, о любви, о вчерашнем убийстве, об измене подлого Жуликова ангелу Сонечке, о жадности Шеркиных и путях антропософии.

Верхние ноты голосов достигают до мансарды. Нижние спускаются вплоть до гнусного Марту, но к дверям приколота бумажка: “Дома нет”.

На дверях шестого этажа наклеена карточка: “Constantin de Khlebopekoff. Стучите громче – я сплю”.

Выше – седьмой этаж, где я бываю. Еще выше – мансарда.

У каждой лестницы свое дыхание, свой запах. Они пахнут краской, пудрой, лаком, духами. И каждая особенно! Вы можете не замечать этого запаха, но нервы ваши его получают и запомнят. Тот момент, когда вы останавливаетесь около закрытой двери (всегда беспокойна и немного страшна закрытая дверь. Закрыта ею жизнь, в которую вы сейчас вступите, закрыто будущее, какое бы ничтожное оно ни было), так вот, в этот момент, когда вы прижимаете кнопку звонка и слышите, как звякнул он по ту сторону стены, в этом маленьком, почти незаметном волнении – все свет, блики, шорохи, топоты, запахи, флюиды лестницы входят в вас. И, может быть, через много лет, встретив тех, кого вы в этом доме видали, вы вдруг почувствуете странную, мутную тревогу, которую сознать невозможно: это нервы повторяют

---

<sup>66</sup> Витраж (от *фр.* vitrail).

вам беспокойные краски витро, и запах духов, и горелого масла, и тихий треск звонков, и звуки голосов... Вся лестница того дома.

Зимой, когда я прочла записку на двери номер третий, умоляющую “дорогого Константина Андреевича” обождать, было уютно от наглухо запертых окон. Казалось, как будто жизнь за всеми этими дверями стала напряженнее, гуще. Глуше и голоса в пятом номере. И новая записка: “Катя, скажи Лизе, что Гриша приходил и ушел к Столешникову за Петром Ардальоновичем. Портниха пуговиц не пришила, пусть Саша поищет. Ключ под ковриком”.

Да – и Саша, и Лиза, и Катя – все суетились, говорили, жили.

В четвертом номере, как всегда, дверь была приоткрыта и стучала машинка.

Небольшой перерыв – месяц, полтора.

На двери номер третий приколотая записка: “Константин, я ушла за рыбой. Твоя на всю жизнь Женя. Ключ под ковриком”.

Так же кричали, надрывались в пятом номере. В шестом на карточке Constantin Khleborekoff была зачеркнута просьба стучать погромче и сделана приписка: “Я в третьем номере”.

И еще миновали дни.

И на двери номер третий записка спешным почерком: “Котик, не сердись, воротнички выгладила, платки на комод. Твоя ничтожная Женька”.

Дверь номер пятый закрыта. В первый раз вижу ее закрытой. Но машинка стучит. Нервно, с большими перерывами.

Наверху de Khleborekoff приписал на карточке: “Я в пятом номере”.

Помните вы нашу петербургскую весну больших бедных грязных дворов? Запах кошек, воробьиные вскрики детей, сладостные всхлипывания шарманки? И свет белых ночей, как солнце привидений, не бросающее тени... Сколько бредовой тоски было в нашей весенней тревоге, и счастье нашей весны убивало, как печаль.

Парижская весна проще, яснее, без четвертого измерения. И подход к ней, переход в нее, незаметен и неощутим.

Консьержка скажет:

– Quel beau temps!<sup>67</sup>

В окнах прачечной заликуют пестрые платья.

Но ведь консьержка говорила иногда и зимой – о “beau temps”. И платья пестрели в окнах прачечной. А деревья так быстро сменили листву, что она кажется еще прошлогодней.

Может быть, в светлых, чистых парижских двориках весной чаще слышится тугое барабанное хлопанье вытряхаемых ковров...

А помните весеннее пение из открытых окон подвала?

Мама-шень-ка руга-ала,

Чи-и-во я так бле-дна.

Идиотские слова, но как чудесно подхватывал второй голос, и печаль, и любовь божественным нимбом озаряли некрасивость, и грубость, и пошлость произносимых слов.

Парижская весна не поет. Тихие дворы гремят по утрам жестянками от “ордюров”. Песни во Франции нет. Как странно, – пока не привыкнешь и не забудешь (не забудешь!), путешествуя, – проезжать мертвые деревни и поля, не звенящие голосами жниц...<sup>68</sup>

Я поднимаюсь по лестнице.

---

<sup>67</sup> Какая прекрасная погода! (*фр.*)

<sup>68</sup> Мусорных баков (от *фр.* ordure – мусор).



На двери номер третий записка: “Котик! Умоляю! Вернись! Ключ под ковриком. Котик, я умру”.

А наверху, у Constantin de Khlebopekoff, совсем исчезла карточка. Но к ручке двери кто-то привязал букет ландышей. Он давно завял.

Отчего же нет карточки?

Ах, да...

Дверь номер пятый плотно закрыта, и стука машинки не слышно.

## Табльдот

Что мне нравится в европейцах – это качество, абсолютно в русских людях отсутствующее, – довольство своей профессией.

У нас каждая портниха мечтала сыграть Гедду Габлер. Каждый фельдшер был в душе писателем.

Каждый акцизный – пророком и учителем жизни.

Свое дело никто не любил, выполнял его спустя рукава и считал для своей личности унижительным.

Никогда о деле своем в свободное время не разговаривал.

Отзвонил – и с колокольни долой.

Француз или немец – отзвонил или не звонил, а всегда с удовольствием на своей колокольне сидит. С удовольствием и гордостью.

У нас конторщик “губил свою жизнь в конторе”. Сапожник пил горькую “от эдакой жизни”. Все были судьбой обижены, все шли не по своей дороге.

Э-э-эх!

За табльдотом маленького курортного отеля “с горячей водой и видом на большое кафе” судьба послала мне великолепных соседей – доблестных и гордых.

С левой стороны – почтмейстер из Лиможа. С правой – винодел из Перпиньяна. За завтраком и обедом ведутся горячие, полные живого интереса беседы. После завтрака и после обеда я думаю и не могу решить, что важнее для мировой культуры – виноделие или почтовое ведомство.

Винодел – старичок. Усики мохростые, щечки припеченные, брови как гусеницы. Голос хриплый. Весь такой, как у нас в России называлось “выпивон”. Не пьяница, нет. А выпивает с удовольствием и сознанием. Понимает, что делает.

Почтмейстер – желтоватый, гладкий, глаза выпуклые и под зрачком сентиментально закачанный белок.

Из разговора выясняется, что Перпиньян чудный город. В нем столько мух, что количество это не поддается никакому учету. Весь Перпиньян гудит.

Лимож не гудит мухами, но и он великолепен.

– В Лиможе, – блаженно закатывает глаза почтмейстер, – жизнь очаровательна.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.